

## ГУМАНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК

Сама идея гуманитарного порядка (фр. l'ordre humain; humain - человеческий) двусмысленна. Образ человечества, являющегося жертвой хаоса страстей, образ истории, бушующей как слепой и бешеный поток, - один из наиболее укоренённых в западной литературе. Является ли, таким образом, концепт гуманитарного порядка оксимором? Нет, и по двум очень разным причинам. Первая состоит в том, что человечество занимает во вселенной выделенное место, одновременно отделённое от физико-химического и животного порядков и тесно связанное с ними. Вторая - в том, что хаос, ярость и вопль являются как бы внешней меткой внутреннего порядка. Таким образом, человеческое является областью реального, и эта область обладает формой, во всяком случае, латентной.

Здесь возникает вторая двусмысленность: идёт ли речь о скрытой форме или же о форме рождающейся? Является ли регулярность явлений человеческих фактом или же целью, надеждой? В первом случае, не следует ли искать в регулярностях, которые демонстрируют два других порядка, источник и причину тех, которые описывают гуманитарный порядок. Во втором случае, как вообразить, что из хаоса возникает сила, одновременно подчиняющаяся общему порядку и способная установить свойственную гуманитарному порядку организацию? Или же, напротив, следует полагать, что существующие или рождающиеся в гуманитарном порядке регулярности имеют особую природу; что с онтологической точки зрения гуманитарные законы не имеют ничего общего с законами природы?

Все эти вопросы с самого начала вписаны в порядок дня философии и управляют генезисом и развитием наук о человеке. Начиная с эпохи Просвещения эти науки стремятся одновременно описать и предписать, и, несомненно, это одна из причин, по которой они так запоздали с приобретением в отношении философии автономии, по-прежнему остающейся непрочной. [1] Когда философ современных наук приступает к работе, он поражается нехватности пейзажа, который он должен изобразить: с одной стороны, устоявшиеся науки, от лингвистики до экономики, от психологии до истории, от антропологии до социологии, от археологии до политических наук, предстают перед ним в той же мере как области, которые ещё не исследованы методами, подобными тем, которые используются в физических и биологических науках; с другой стороны, перед его глазами возникают целые области истории философии и нормативной философии и дают знать *tout court* философу, что он остался.

Соединить вместе две точки зрения - вызов для автора целой книги, для автора одной главы это была бы самоубийственная стратегия. Принимая решение говорить здесь лишь о науках о человеке и делать это в соответствии с дескриптивной модой, оставаясь, следовательно, безмолвным о том, что в этих науках относится к моральной и политической философии и, в более общем случае, к мысли человека, мы лишь следуем модели, принятой в настоящее время множеством учебников и трактатов по философии науки, но существует риск преподнести как целое то, что является лишь частью. Читатель, таким образом, предупреждён. Но это ещё не всё: нужно упомянуть о другом множестве ограничений, которые вводятся в игру. Не только, в соответствии с общей ориентацией книги, методология будет широко пожертвована в пользу онтологии, но, с одной стороны, акцент будет сделан на социальные науки, с другой

стороны, обширное поле исследований, о котором некоторые, возможно, сказали бы, что оно формирует «твёрдое ядро» области исследований, будет оставлена в стороне – речь идёт о теории выбора, к которой мы относим теорию принятия решений, или теорию индивидуального рационального выбора, теорию интерактивных выборов, или теорию игр, и теорию коллективных выборов. Многочисленные превосходные книги по этим предметам, к которым относятся книги Бертрана Сен-Сернена (Bertrand Saint-Sernin), доступны как на французском так и на английском языках. [2] Автор настоящей главы предпочёл поэтому ограничиться несколькими классическими вопросами, на которые недавние исследования, с которыми он знаком, возможно, проливают новый свет, но в особенности, которые он оценивает, правильно или ошибочно, как вопросы, являющиеся определяющими для будущего рассматриваемых дисциплин.

Одно последнее предупреждение будет, вне всякого сомнения, небесполезным. Эта глава, в особенности её второй раздел, опираются на работы, сделанные в рамках аналитической философии, и принимают во внимание тезисы, развитые в рамках неонатурализма, представленного в главе III. В них, однако, не отстаивается онтологический натурализм гуманитарных наук в сильном смысле и ещё менее программа *редукции* социальных наук к когнитивным наукам (проект, которому, впрочем, не следует никто). Причина этого столь же в уместности сколь в убеждённости: эта книга не место для защиты смелого философского выбора, имеющего малочисленных сторонников, и упомянутый выбор не есть выбор автора. Напротив, мы проиллюстрируем те перспективы, которые открывает натуралистическая *эвристика* и, в более общем случае, то преобразование, которому подвергаются некоторые проблемы, когда их рассматривают под новым углом зрения. Читатель, заранее убеждённый в том, что всё уже было испробовано под другими этикетками и что всё потерпело неудачу, может ограничиться беглым просмотром первого раздела этой главы, два последних раздела которой могут вызвать у него лишь раздражение.

В рамках общей философии наук правилом является то, что науки о человеке рассматриваются в последнюю очередь. Данная книга не отступает от этого правила: лишь после анализа физических и затем биологических наук она переходит к наукам о человеке.

Можно спросить себя почему. В конце концов от Платона до Юма и от Монтескье (Montesquieu) до Курно (Cournot) социальные науки не демонстрируют особого отставания по сравнению с науками о природе. В качестве путеводной нити в данной главе мы выберем вопрос о том, один лишь обычай или же новый предрассудок лежат в основе этого порядка изложения. Для нас это будет способом обозрения некоторых принципиальных вопросов, которые традиционно поднимают науки о человеке в своей совокупности. Первый раздел, таким образом, будет посвящён тезису о принципиальной разнице между этими науками, с одной стороны, и науками о природе, с другой стороны, проанализированному в свете классических аргументов и при помощи общедоступных ресурсов до возникновения сорок лет тому назад двойного движения, в результате которого вопрос оказался в достаточно значительной мере обновлённым. О каком движении идёт речь? С одной стороны, о постпозитивистском повороте в философии наук, в результате которого произошла модификация господствующей концепции наук о природе; и, с другой стороны, о

неонатуралистическом повороте, который стремится, как мы это видели в главе III, придать новый импульс наукам о человеке, по крайней мере, философии и дисциплинам, изучающим индивидуальные способности. В первом приближении результатом этих изменений стало придание наукам о природе более скромного эпистемологического статуса и, наоборот, повышение, по крайней мере потенциально, статуса гуманитарных наук. Таким образом, в своём достоинстве, но также и по содержанию две стороны, по-видимому, сближаются друг с другом. Второй раздел будет посвящён изложению некоторых аспектов этой эволюции. В третьем и последнем, гораздо более коротком разделе, будут предложены несколько элементов с целью дать новый ответ на исходный вопрос - вопрос об отношении между гуманитарными науками и другими науками.

На протяжении всей главы мы будем говорить о науках о человеке или о гуманитарных науках, не делая между ними различия [3] ; и мы будем понимать эти выражения *в самом общем смысле*, не предполагая существования чёткого разграничения с другими выражениями и *не исключая социальные науки* или науки об обществе (напротив, как мы уже сказали, именно их мы будем в особенности иметь здесь ввиду); мы не будем следовать тому выбору, который сделал Леви-Стросс (Lévi-Strauss) (имеющий, правда, по этому вопросу мало последователей), противопоставляя гуманитарные и социальные науки и определяя первые как теоретические дисциплины, а вторые как прикладные дисциплины или социальные искусства.

## I

### ПОЧЕМУ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ?

Статус наук о человеке уже давно является предметом разногласий между «натуралистами» и «антинатуралистами». Первые видят в них науки «как другие», вторые – как существенно отличные науки. Как мы только что сказали, эти разногласия продолжают существовать, но их точная формулировка изменилась. В этом первом разделе мы представим оппозицию в своей классической формулировке, характеризуемой тесной связью между натуралистическим тезисом и идеей зависимости гуманитарных наук от наук о природе. Мы проанализируем пару натурализм/зависимость («монизм»), потом пару антинатурализм/независимость («дуализм»). В-третьих, мы вернёмся к аргументам, выдвинутым в поддержку дуалистической концепции.

*Первая гипотеза: зависимость или субординация*

Гипотеза, которую мы рассмотрим прежде всего, следующая: гуманитарные науки рассматриваются в последнюю очередь потому, что они зависят от наук о природе.

Онтологии, редукция, функция

Хорошо известно, что Огюст Комт располагал науки в виде строго упорядоченной схемы, в которой порядок был одновременно онтологическим [4] и логическим, историческим и, наконец, методическим и педагогическим: для него основные дисциплины следуют одна за другой одновременно в том смысле, что предмет всякой науки основывается на предмете предшествующей ей науки, затем, в том смысле, что всякая наука предполагает и мобилизует предыдущую, в том смысле, что в ходе исторического развития каждая наука достигает своего позитивного финального результата после предшествующей ей науки и, наконец, в том смысле, что в рамках базового образования [5] изложение науки и обучение ей следуют за изложением и обучением предыдущей науки. Образно говоря, науки составляют нечто вроде книги, главы которой задуманы, написаны и должны читаться в соответствии с порядком страниц; и фундаментальная причина этого порядка онтологическая.

Онтологический аргумент сохраняет значительную силу убеждения ещё и сегодня. План второй части этой книги принимает эту точку зрения, а заглавие настоящей главы, кажется, отсылает к гуманитарному порядку, который охватывает физико-химический и биологический порядки, не редуцируясь к ним. Аргумент взят на вооружение физикалистами, которые образуют основную часть армии неонатуралистов, о которых мы говорили в главе III. Для физикалиста всё, что существует, образовано из материи в том в смысле, в котором о ней говорит физика: не существует ничего такого, что не было бы в буквальном смысле сделано из последних составляющих материи, идентификацию которых в настоящее время физика завершает. Эта глобальная форма аргумента (или скорее онтологического постулата) утверждает, что онтология всякой науки включает онтологию физики. Можно также рассмотреть локальные версии, относящиеся к двум, отличным от физики дисциплинам (например, химии или биологии): постулат принимает, таким образом, форму включения онтологии одной дисциплины в онтологию другой дисциплины – в нашем примере он должен утверждать, что всякая биологическая сущность состоит из сущностей химических. Наконец, можно «нагромоздить» друг на друга онтологические постулаты и вообразить, как это делает Комт, что следующие одна за другой научные области образуют возрастающую последовательность онтологий в том смысле, в котором онтология одной науки (множество объектов, составляющих её реальную область исследований) включает онтологию предыдущей (и, как следствие, последовательно, всех тех, что ей предшествуют.) Социологические объекты (группы людей) являются биологическими системами, следовательно, химическими системами (системами химических систем) и, следовательно, также прямым или косвенным образом, физическими системами (системами физических систем или системами систем физических систем).

Но можно приписать физикалисту онтологический постулат, не будучи вынужденным помещать физику в положение контролёра по отношению к другим наукам. «Распаривание» осуществляется в два этапа. Первый был осуществлён самим Комтом. [6] То, что онтология, например, химии включает онтологию физики, не влечёт за собой равенство соответствующих им областей. Может случиться, что, для того, чтобы перейти от области физики к области химии, недостаточно агрегировать соответствующим образом физические сущности, но требуется добавить новую «онтологическую размерность». «Агрегация» и «онтологическая размерность» являются понятиями, которые очень трудно уточнить, и у нас будет возможность изучить их более близко в главах VIII (о возникновении) и IX (о форме). Но общая идея достаточно ясна: либо мы полагаем, что сущности редуцируемой науки есть *лишь*

сущности или множества сущностей науки, дающей «редукционную базу», либо мы полагаем, что эти сущности имеют *вдобавок* свойства, которые не относятся к свойствам базовой науки. Дюркайм (Durkheim), например, полагает, что образования, которыми интересуется наука (он берёт примеры клетки, бронзы, воды), содержат новые свойства – «эмержантные» (фр. *émergentes* - возникающие), как говорят сегодня, и выражает это термином «синтез» [7], который он употребляет для того, чтобы обозначить агрегаты. [8] В этом, как и в других планах, он верен Комту [9]: решительный антиредукционист; Комт убеждён в том, что всякая фундаментальная дисциплина обладает онтологическим «слоем», который запрещает редукцию социологии к биологии, биологии к химии и этой последней к физике.

Но этот первый этап, очевидно, не освобождает дисциплины от влияния фундаментальной дисциплины (в данном случае физики): как мы упомянули, в комтовской схеме химия предполагает физику и так далее – химик, конечно, обладает знаниями, которые превышают компетенцию физики, но это не освобождает его от необходимости владения физикой, по-крайней мере, на уровне её «общих положений». Кажется, что онтологическая зависимость вызывает к зависимости логической. Так как общества есть агрегаты агрегатов агрегатов... - короче, логико-множественные конструкции – кварков, логически не мыслимо, что существуют общества, но не кварки, тогда как обратное – мир кварков, в котором общества не существуют – не только воображаем, но даже, по-видимому, подтверждается космологией и историей. Согласно этой концепции онтологическая иерархия областей влечёт логическую иерархию соответствующих дисциплин.

Для того, чтобы физика перестала быть для химии и для других наук если не важной, то, по крайней мере, *существенной*, нужно преодолеть второй этап и принять *функциональную* точку зрения, согласно которой наука высшего уровня имеет в качестве онтологии одни лишь отношения между совокупностями сущностей, принадлежащих низшему уровню, и не включает сами эти сущности. Другими словами, если, например, верно, что клетка является агрегатом химических молекул, то функционалистская или структуральная [10] точка зрения состоит в том, что все свойства клетки, за исключением внутренних свойств каждой из составляющих её молекул, могут быть поняты исходя из отношений (причинных, пространственных и так далее) между молекулами. Свойства молекул маскируются при переходе к клетке. Интегральный функционализм, конечно, не является актуальным в биологии клетки, рассматриваемой с точки зрения её отношения к химии, но промежуточные или смешанные формы актуальны: могло бы оказаться, что лишь некоторые свойства молекул существенны для того, чтобы понять свойства клеток, также как, например, «псевдомолекулы», сделанные, например, из ангельской пыли, а не из кварков, могли бы образовывать клетки, обладающие в точности теми же свойствами, что и клетки, которые составляют живые существа, населяющие земной шар. Маскировочный эффект был бы, таким образом, лишь частичным, оставляя место для ограничений, накладываемых низшим уровнем на высший уровень, делая в то же время невозможной интегральную детерминацию одного посредством другого. Именно эта, подходящим образом обобщённая интуиция, лежит в истоке того, что называют «искусственной жизнью» - под эту этикетку подпадают более или менее радикально функционалистские программы исследований (то есть, в данном случае, основанные на постулате о более или менее полной независимости по отношению к химическому субстрату вовлечённых в жизненные процессы фундаментальных явлений). В главе III мы бегло рассмотрели, каким образом эта гипотеза употребляется в психологии,

рассмотренной с точки зрения её отношений с нейронауками. В некоторых областях функционалистская точка зрения отстаивается гораздо более решительно: некоторые сущности рассматриваются не просто как фактически, но логически независимые от субстрата (от их материальной реализации). Деньги, гены, восстания, верования рассматриваются, по крайней мере, в рамках некоторых теоретических схем, как объекты (фр. *entités*), которые имеют лишь функциональную сущность: их реальные представители существуют, несомненно, лишь в силу конкретной материальной организации, но они не зависят от неё в своей причинной или формальной роли – деньги могут быть сделаны из драгоценного металла, из бумаги, из событий в интернетовском пространстве-времени, но это не оказывает воздействия на их функцию в экономических отношениях обмена и кредита; как следствие, не будучи нематериальными, деньги существенным образом не зависят от свойств драгоценных металлов, от бумаги, кремниевых микросхем (фр. *puces de silicium*) или герцовских волн.

Дальше в этой главе мы рассмотрим эти вопросы [11] более конкретным образом. Пока что удержим в памяти следующее простое заключение: то, что наука ведёт речь об объектах, состоящих из физических объектов, не означает, вопреки видимости, что эта наука зависит от физики.

### Хронология

Лишённый своей онтологической базы, комтовский порядок - или другой порядок - мог бы, тем не менее, очень просто быть оправдан, исходя из исторических соображений. Будучи науками последними достигающими в хронологии Комта позитивной стадии, гуманитарные науки были бы также науками, последними получающими пользу от специализированного философского анализа. [12]

Но каким бы правдоподобным он ни казался в свете некоторых примеров (физика, следующая после астрономии одновременно онтологически, логически и в достижении позитивной стадии, биология, следующая после химии), комтовский закон следования (фр. *succession*) не может устоять при серьёзном анализе. С одной стороны, в рамках одной и той же области вектор истории наук не является эквиполлентным вектору сложности: механика простых машин предшествовала физике частиц, физиология созрела до биологии. С другой стороны, три больших области не следуют одна за другой как вагоны поезда: лингвистика предшествовала анатомии, и эта последняя достигла своего завершения гораздо раньше, чем появилась квантовая электродинамика. Выстраивание в прямую линию есть лишь артефакт представления. Он является результатом двойного насилия над историей – прокрустовой редукции дисциплин к шести основным наукам (мы к этому через секунду вернёмся) и отождествления позитивного возраста науки с комтовской концепцией этой науки. В частности, что касается гуманитарных наук, нужно прийти к согласию насчёт их молодости. Как пишет в своей небольшой книге, на которую мы будем ссылаться много раз [13], Жюльен Фройнд (Julien Freund), «идея о том, что гуманитарные науки могут образовывать автономную сферу исследований или могут быть дисциплинами, имеющими собственный эпистемический статус или специфическую методологию, достаточно нова» [14]; она утверждается, продолжает он, лишь в XIX веке. Но течения мысли, которые непосредственно вливаются в такую-то и такую-то современную

гуманитарную науку, рождены гораздо раньше – политическая наука и лингвистика не новее, чем биология.

### Физические науки как модель

Замечая, что гуманитарные науки кажутся вечно находящимися в колыбели (*forever in their infancy*), Виттгенштейн (Wittgenstein) предупреждает нас против предрассудков этой банальной идеи. Сказать, что эти науки молоды, означает предположить, что они с неизбежностью должны созреть, как до них созрели науки о природе. Это сказать, что они являются науками (фр. *entités*) того же типа, в частности, что они обречены на успех и что этот успех должен измеряться мерками наук о природе. Мы покидаем, в таком случае, существенно дескриптивную точку зрения, принимаемую эпистемологом, когда он рассматривает науки о природе, и переходим, что касается гуманитарных наук, к нормативной точке зрения. Это характерная тенденция, которая возникает с момента рождения (или, точнее, автономизации) этих дисциплин и которую стоит проанализировать. Вправе ли философ диктовать или, по крайней мере, предлагать метод или цель конкретной науке? Вспомнят, может быть, о вмешательстве философии или теологии, объектом которого стали в недавнем прошлом, последовательно, физика, химия, биология. Заметят также, что всякая дисциплина сопровождается рефлексивным движением о её природе, методах, основаниях, которое составляет саму сердцевину эпистемологии и в которое вносят вклад как имеющие к дисциплине отношение научные работники, так и историки или философы науки. В этом отношении контраст между двумя основными семействами наук не менее поразителен: сегодня в науках о природе нормативное измерение метатеоретической рефлексии («внутренней» - специалистами области или «внешней» - философами) является весьма скромным, основная часть работы носит дескриптивный или методический характер: большую часть времени не задаются вопросом о том, что физики или биологи должны делать, но лишь о том, что они делают в действительности, каким образом они берутся за это, что может объяснить их успехи и неудачи и так далее. Исключения, как правило, связаны с дискуссиями, порождаемыми доктринами, имеющими мало сторонников, или же этическими дилеммами. Напротив, нормативные вопросы стоят в порядке дня эпистемолога гуманитарных наук и даже (в некоторую эпоху) философа – Фройнд (Freund) напоминает, что в Германии проблема статуса гуманитарных наук была в центре внимания философов в течение первой трети XX века [15], и, как известно, во Франции в шестидесятых-семидесятых годах некоторые философы помещали гуманитарные науки в центр самой философии, рискуя уничтожить её как автономную дисциплину. [16] Современный неонатурализм, о котором речь шла в главе III, по-своему принимает эстафету, поскольку он практикует и *проповедует* интенсивный трансграничный обмен, по крайней мере, с психологией, лингвистикой, антропологией и экономикой; он часто и долго вопрошает о том, какими эти дисциплины *должны* быть, об отношениях, которые они *должны* поддерживать с философией, и так далее.

Но основной урок, который исторически философы наук и учёные хотели заставить услышать гуманитарные науки, состоит в том, что они должны взять физические науки в качестве модели научности. Они должны были признать, что физика является парадигмой всякой науки. Мы приходим ко второму способу интерпретации отношений зависимости между науками: в этом смысле одна наука зависит от другой, когда она обращается (или должна обратиться) к ней с тем, чтобы вдохновиться её

методами, попытаться походить на неё в своих результатах, попытаться сравняться с ней в своих предсказательных способностях или же в эстетическом плане.

Идея о том, что в этом смысле все науки зависят от физики долгое время оставалась одной из наиболее энергично дискутируемых во всей философии наук. Она чаще практиковалась или предполагалась, чем защищалась. От Дюэма (Duhem) до Башляра (Bachelard), от Карнапа (Carnap) до Поппера (Popper) большинство философов наук XX века трактовали физику в качестве царицы наук. Противники этого тезиса, или этой установки, напротив, должны были стойко сражаться. Самые крайние охарактеризовали этот тезис как «желание физики» (полемическое выражение, очевидно, калькированное с фрейдовского желания пениса). Нужно ли, однако, болеть «физиколатрией» (фр. *physicolâtrie*), чтобы приписать ему некоторую видимость легитимности.

Нет. Но прежде чем сказать почему, заметим, что те, кто видят физиколатрию в идее физики как примера для подражания, не есть лишь защитники *гуманитарных наук*, достоинство которых было бы, таким образом, поставлено под сомнение и развитие скомпрометировано: сторонники биологии, освобождённой от давящего образа старшей сестры Физики, столь же резки.

Можно полагать, что, в принципе, ничто не обязывает другие науки придерживаться методов физики; что является правдоподобным и даже достоверным то, что разница между их объектами и объектом физики (которую можно предполагать настолько радикальной, насколько мы захотим) не позволяет им этого, придерживаясь в то же время взгляда, что физика остаётся единственным примером науки, который был бы неоспоримым. В самом деле, не будем забывать, что мы не располагаем никаким удовлетворительным определением «науки»; мы можем лишь указать на примеры науки. Как писал Эрнест Геллнер (Ernest Gellner): «Фактом является то, что в науке существует консенсус, а в философии науки *нет*.» [17] Философ должен положиться на указательное определение науки: «*Это* [физика] наука, и *то* [такая-то другая дисциплина, практика, совокупность текстов] также наука, в той мере, в которой оно похоже на *это*.»

Так как физика (понятая в некотором достаточно широком смысле) долгое время составляла единственный связный большой научный корпус знаний, всякая деятельность, желающая быть наукой, должна была выбирать между двумя путями. Либо она пыталась *имитировать* физику, строить *физику X*, где X – отличная от традиционной физики область; этот подход оказался успешным для дисциплин, которые постепенно интегрировались в физику [18] (или расширили её область); к сегодняшнему дню он не привёл к «социальной физике» в рамках концепции Кетле (Quételet) или концепции Комта. Либо же отказывались строить нечто вроде физики и лишь пытались использовать средства, которым, как анализ дисциплины давал основания считать, она обязана значительной частью своих свойств и своего успеха с тем, чтобы получить результаты в других областях. В теоретическом плане законность этих средств могла быть отстаиваемой философами, но, прежде всего, было не меньше тех, кто, несомненно, преуспел *à la* физика. Впрочем, хорошо известно, что в момент рождения современной науки, в эпоху, когда физика являлась единственной мыслимой наукой в том новом смысле, который начинал проявляться, различие между философией и наукой ещё было очень расплывчатым.) Другими словами, всякий кандидат на звание науки мог либо попытаться стать разделом физики, либо применить



некоторые процедуры, подсказанные физикой – нечто вроде метода. По мере того как второй путь становился достаточно отличным от первого, вопрос о том, является ли результат, к которому он ведёт, (настоящей) наукой или нет, становился неразрешимым. С той поры стало почти неизбежным обращение за помощью к качественному сравнению с физикой: произвела ли новая дисциплина «сублимные» (фр. *sublimes* ; *sublime* – возвышенный, высокий) в смысле Пенроуза (Penrose) (гл. IV) теории? Было совершенно ясно, что нет. Были ли у неё какие-либо шансы однажды её произвести? Некоторые сомневались в этом, другие утверждали это [19] : все видели здесь тот признак, наличие которого укажет на то, что рассматриваемое предприятие, независимо от того, приписывают ему условно качество научности или нет, заслуживает внимания, сравнимого с физикой, и что оно имеет шансы дать теоретическому и практическому знанию, а также, возможно, философии природы, вклад того же размаха. Именно в этом, по существу, состоял единственный настоящий вопрос.

Естественно, критики могли отметить, что эта точка зрения была целиком обусловлена исторической концептуальной схемой, носителем шкалы ценностей, вершину которой занимает физика, её достижения, её методы, её великие люди, её эпопеи. Но этот аргумент соединял в себе недостаток всякого релятивизма с отсутствием иного решения : какая другая имеющаяся в наличии концептуальная схема позволяла опрокинуть её ценности и сделать из физики одно из знаний среди других? [20] Возможно лишь сегодня мы находимся на достаточном удалении, чтобы провести границу между областями природы, способными привести к наукам физико-математического типа, характеризуемыми тем, что можно назвать «галилеевым стилем» [21], и другими областями, и признать, что первые занимают достаточно небольшую площадь, чтобы можно было придать смысл количественному сравнению.

Как бы то ни было, вот почему ссылка на физику и аксиологическая зависимость других наук по отношению к физике долгое время являлись, вне какой-либо связи с «желанием физики», физиколатрией, неоспоримыми эпистемологическими фактами. Оставался, таким образом, вопрос о том, могла ли и каким образом наука быть на равных с физикой, не смешиваясь с ней. Если сегодня вопрос продолжает ставиться и даже стал более актуальным, то термины, в которых он ставится, несколько изменились. Посмотрим каким образом.

#### Реалистический взгляд на дисциплины

*Primo*, за последние четверть века [22] философия наук стала менее нормативной. Истощение усилий, направленных на то, чтобы охарактеризовать научный метод (фр. *la méthode*) посредством множества эксплицитных правил, послужило толчком для исследований в более дескриптивном направлении. Однако параллельно биология доказывала свою способность сравняться с физикой, по крайней мере в дескриптивном, объяснительном планах и в своей прагматической эффективности, но также в плане онтологической значимости своего объекта (живое значит больше для живых, которые для большинства значат меньше, чем их предки после-жизни [23]) ; с другой стороны, много других наук то по теоретическим, то по социальным причинам становились полноправными институтами, легитимность которых отныне могла быть поставлена под сомнение лишь ценой революции, которую оставалось совершить. [24] Таким образом, философ, который был вынужден принять нейтральную методологическую

позицию и рассматривать все науки на равной ноге, перестаёт, по крайней мере, по эвристическим причинам, ссылаться на несколько путеводных дисциплин, которые включают физику, но не сводятся к ней.

*Secundo*, та же озабоченность дескриптивной точностью и эволюция самих наук заметно подорвали понятие дисциплины. Кажется, для того, чтобы был смысл спросить, редуцируется ли биология к физике, или была ли химия поглощена физикой, или математизирована ли лингвистика больше, чем экономика, или обращается ли экономика за помощью к психологии, или должна ли социология делать то же самое, нужно, чтобы физика, химия, лингвистика, экономика, психология и социология *существовали*. Но это так мало вытекает само по себе, что даже сам Комт, верный своему общему номинализму, видел в дисциплинах лишь удобный способ разделения позитивного знания; Поппер рассматривал их как не более, чем способ, предназначенный облегчить жизнь деканам университетов [25] (ответственным за национальные и интернациональные системы исследований и посредникам научной информации, от журналистов до редакторов энциклопедических трудов, добавили бы мы сегодня). Анализ этого вопроса потребовал бы больше места, чем то, которым мы здесь располагаем, но заслуживает труда кратко остановиться на нём.

Три основных причины говорят в пользу антиреалистической установки касательно научных дисциплин (установки, которую нужно уточнить, что может быть сделано многими способами). Первая состоит в исчезновении или ослаблении характеристик, которые долгое время позволяли идентифицировать дисциплины: общность концептов, общность методов, возможность для одного ума охватить совокупность работ или, во всяком случае, принципиальная полная коммуникабельность внутри дисциплины. Вторая причина состоит в том, что с течением времени дисциплины испытывают глубокие преобразования и даже мутации, которые производят гораздо более сильное впечатление, чем их методы или же точная демаркация соответствующих им областей, в такой степени, что, например, мы вынуждены констатировать, что вопрос редукции дисциплины X (или множества явлений) к дисциплине Y остаётся неясным, пока не уточнили, на какую историческую стадию развития Y мы ссылаемся. Хомский (Chomsky), например, пишет насчёт возможности редуцирования психологии к физике: « Было бы не очень удивительно, если бы физические науки, какими мы их понимаем сегодня, оказались неспособными включить в себя и объяснить свойства и принципы сознания, в точности так же, как картезианская механика, как это показал Ньютон, была неспособна объяснить движение тел, или же как физика XIX века не могла объяснить свойства химических элементов и их композиций.» [26]

Третья причина, чтобы отбросить дисциплины, состоит в том, что мы не знаем, для какого масштаба «гранул» можно их определить: физика, механика, механика твёрдого тела, теория пластичности, теория трещин в пористых анизотропных твёрдых телах...? Имеется склонность искать реальный «естественный вид» на промежуточном уровне, уничтожая, с одной стороны, традиционные основные дисциплины, с другой стороны, микроспециальности, так как лишь главные поддисциплины, как кажется, обладают, по крайней мере приблизительно, характеристиками, которые когда-то приписывали, ошибочно или верно, основным дисциплинам, обладая к тому же некоторой стабильностью и минимумом смысла для неспециалиста. Но тогда вся философия наук должна быть пересмотрена сверху донизу: вместо того, чтобы говорить о лингвистике или физике, нужно, чтобы она философски исследовала (и, следовательно, мимоходом будет сказано, знала технически, по крайней мере, немного) такие разделы как

формальная семантика и квантовая электродинамика. [27] Науки больше не состояли бы из десятка больших областей, но из сотни специальностей, и их таблица была бы более сложной, тем более что случай пограничных разделов, пограничных областей, междисциплинарных проектов, анклавов, который является, как когда-то (или же как когда-то это себе представляли), далеко не маргинальным, оказался бы если и не основным, то, по крайней мере, качественно существенным. [28]

Короче, может показаться разумным присоединиться к дефляционистской точке зрения Поппера, согласно которой дисциплины (и *a fortiori* поддисциплины на всех уровнях специализации), являются административными образованиями. Но если Поппер мог себе позволить эту жертву, то это, возможно, потому, что он разделял вместе со своими противниками из Венского Круга унитарную концепцию науки: если в действительности наука одна, то зачем беспокоиться сверх меры о техническом разделении задач внутри её, разделении, которое эволюционирует и не затрагивает ни основы, ни цели научной деятельности? Современный философ, со своей стороны, по крайней мере, если исповедует реализм, может по праву засомневаться: полный отказ от дисциплин мог бы его привести, за отсутствием целостной науки, к отказу от самой науки. В самом деле, судьба дисциплин солидарна с судьбой соответствующих им областей: когда дисциплина исчезает, принадлежащая ей область рассасывается во всё многообразии явлений; если все дисциплины исчезают (в реалистическом смысле, который нас здесь интересует) и если, с другой стороны, не существует одной большой всеохватывающей науки, область которой – всё реальное, то в таком случае имеется лишь большое многообразие всех явлений, а также частичные дескриптивные точки зрения на это большое целое – нет больше науки в смысле, в котором её понимает реалист.

К этому аргументу, который, возможно, оценят как слишком абстрактный, добавляется реалистическое соображение в другом смысле: самый общий анализ научного подхода показывает, что понятие дисциплины является существенным эвристическим инструментом. Учёные не знали бы на какого святого молиться, если бы отныне им было невозможно сослаться на их дисциплину. Здесь куновское выражение «дисциплинарная матрица» приобретает свой полный смысл, независимо от решения вопроса о том, возникает ли в ходе истории бесконечная последовательность дисциплинарных матриц (гл. II).

Таким образом, кажется, что реалиста ожидает тяжёлая задача, в одном или в другом смысле: задача высвободить от исторических контингентностей органические и относительно стабильные системы внутри научного корпуса знаний, которые заняли бы место старых дисциплин, и области которых составили бы все «естественные» объекты природы – несомненно, не абсолютно естественные, но естественные для существ (естественных, культурных), каковыми мы являемся. Пока что мы можем лишь констатировать отрицательный, возможно, новый результат, который состоит в следующем: в отсутствие ясного понятия дисциплины, тезис превосходства физики теряет свой интерес и, возможно, свой смысл.

Мы, следовательно, приходим, наконец, к третьей причине этой относительной потере интереса. Неотложностью для многих философов наук сегодня является понимание того, что отличает науки в их совокупности от теорий и подходов, которые интуитивно являются ненаучными, некоторые из которых кажутся им интеллектуально и социально откровенно вредными. (В новых учебниках на английском языке наиболее цитируемый

пример - это креационизм, поставленный решением суда в некоторых регионах Соединённых Штатов на равную ногу с дарвинизмом.) Ситуация несколько сравнима с той, в которой находился Поппер в Вене в 1918-1920 годах, с той разницей, что решение, которое он защищал в течение более чем полвека (критическая опровергаемость как критерий демаркации), в конечном итоге не было признано удовлетворительным большинством философов, даже если они и согласны видеть в нём часть истины или шаг в правильном направлении; к тому же Поппер боролся с догматизмом, тогда как его последователи парадоксальным образом имеют в качестве противника релятивизм: Поппер почти что слишком преуспел с тем, чтобы дать понять, что всякая научная теория есть, в собственном смысле, гипотеза [30]; с тех пор креационизм и дарвинизм имеют одну и ту же ценность – это гипотезы, которые, согласно креационистам-легалистам, было бы злоупотреблением представлять одну в ущерб другой как обладающую печатью истины, выданной наукой.

Как бы то ни было, перед лицом релятивизма и скептицизма наш современный философ наук должен быть заинтересован в принятии плюралистической, эгалитарной и инклюзивной (фр. *inclusive* – включающий в себя) концепции науки с тем, чтобы лучше оценить, с одной стороны, глубокую абсурдность опции антинаука (по крайней мере в некоторой интерпретации [31]) и, с другой стороны, пропасть, которая отделяет научный континент (полуостров, включая пограничные зоны) от империй иррационального. Противопоставить внутри наук хороших учеников и так называемых отстающих не кажется достаточно уместным: это означало бы дать противнику оружие, аргумент непрерывности (или аргумент наклонной плоскости).

Коротко говоря, нужно, как кажется, отказаться от обоснования отношения зависимости, каким бы оно ни было, третье и последнее место, которое мы приписали гуманитарным наукам в настоящей работе. Теперь нужно рассмотреть другую гипотезу, гипотезу о принципиальной независимости наук от наук о природе. Это был бы другой способ объяснить следуемый порядок: невозможно сказать всё сразу, и отклонение от традиционного порядка потребовало бы особого обоснования, которое мы с трудом в состоянии дать.

### *Вторая гипотеза: независимость или безразличие*

Гипотеза, которую остаётся рассмотреть, следующая: в действительности, гуманитарные науки следуют не *за*, но *рядом с* другими науками – они не имеют с ними никаких существенных отношений. Но книга имеет линейную структуру, нужно начать и где-то кончить: следуемый порядок не имеет, таким образом, никакой глубинной структуры.

### Большое разделение

Как известно, большая дискуссия, к которой приводят гуманитарные науки, обычно формулируется следующим образом: являются ли эти науки такими же науками, как *другие*, или нет? То есть, как науки о природе? Разумеется, тот, кто ставит этот вопрос, имеет ввиду конкретное отношение, по которому производится сравнение, без чего он не допускает определённого ответа. Однако, протагонисты стремятся занять два лагеря,

лагерь НЕТ, сторонников «бифуркации», употребляя термин Хомского, и лагерь ДА, сторонников единства, непрерывности и однородности. Логически можно ожидать гораздо более сложную таблицу возможных позиций; и именно это мы открываем, как только даём себе труд детально изучить позиции основных мыслителей, которые высказались по этому вопросу; мы увидим это на примерах.

От этого поляризация дискуссии не менее очевидна, и объясняется, несомненно, антропологическими установками. Тем, кто прежде всего думает об уникальном положении человека в природе, кажется необходимым воздвигнуть в принципиальном плане чёткое разделение между науками, объектом которых является человек, и науками, областью которых является природа в той своей части, которая является внешней по отношению к человеку. Тем, кто думает прежде всего об уникальном положении науки в жизни сознания, кажется необходимым утверждать в принципиальном плане универсальное предназначение науки. Каждый лагерь прибегает к тонкой диалектике. Первый исходит из оппозиции между концептом человека и концептом науки, затем допускает возможность *Aufhebung*'а, в которой оппозиция одновременно преодолевается и удерживается, что прямо приводит к общей идее науки о человеке, которая не есть наука в примитивном смысле, то есть в смысле наук о природе. Второй исходит из принципиальной применимости науки к человеку, затем допускает возможность расщепления в человеке между тем, что является объектом возможной науки, и тем, что не является; он приходит, таким образом, к идее науки о человеке, которая не есть наука о всём человеке.

Исторически, поляризация в значительной мере приписывается попытке Вильгельма Дильтея (Wilhelm Dilthey) провести границу (*Abgrenzung*) между науками о сознании (фр. sciences de l'esprit), как он их иногда называет (но он также говорит о моральных науках, социальных науках, исторических науках или науках культуры [32]), и науками о природе. Среди антинатуралистов Дильтей занимает особое место, в силу глубины своих взглядов и своей чувствительности к натуралистическим аргументам, но его нюансированные тезисы делают лишь более очевидным существование двух основных ориентаций, которые увековечиваются посредством обмена аргументами, переворачивания позиций, эволюции знаний и внутренних разветвлений.

На сегодняшний день существуют два симметричных способа разомкнуть кольцо. И тот и другой состоят в том, чтобы рассмотреть смешанные области, которые составляют, с одной стороны, человека биологического, объект биомедицинских наук, с другой стороны, техносферу, слой, который человеческое действие, отныне, добавило к природе. Эти два пути, впрочем, исследуются в настоящей работе. Но здесь мы будем действовать более прямым образом, напоминая классические термины дискуссии и задаваясь вопросом о перспективах третьего пути, исходя из рефлексии о фундаменте оппозиции.

#### Четыре линии оппозиции

Существуют различные измерения, по которым хотели радикальным образом противопоставить гуманитарные науки наукам о природе. Каждое допускает различные концепции, и кроме того измерения могут комбинироваться, откуда богатство возможных позиций. В целях удобства, но также потому, что они сами себя обычно представляют таким образом, мы всех их будем называть «антинатуралистическими

или монистическими. Некоторые авторы [33] говорят об «интерпретативизме», другие об «историцизме», ссылаясь на одно или другое из двух понятий, которые играют кардинальную роль для многих из них. Иногда также ссылаются на «гуманистов» [34], которые располагают науки в соседстве с классическим изучением греческого и латинского языков и литературы, а не науками о природе; или «идеалистов», потому что они ставят реконструированные историком идеи, носителями которых являются действующие лица истории, в центр научного исследования, в противоположность «позитивистам» или «эмпиристам», которые полагают, что лишь внешнее, наблюдаемое поведение должно быть принято во внимание. Наконец, противопоставляют «дуалистов», «бифуркационистов», или «автономистов», «ассимиляционистам», или «монистам», которые, начиная с Комта и Милля и кончая Хемпелем (Hempel) и Хомским защищают идею фундаментального единства науки.

Я начну с обзора четырёх планов, в которых хотели установить существенное различие между двумя группами наук:

- природа объектов области исследований
- цели демарша
- метод
- отношение сюжета к объекту познания

Затем я буду исходить из следующего фундаментального вопроса: «Имеется ли решающий аргумент, который ориентирует всё остальное в пользу бифуркации?», и я исследую несколько подробнее некоторые предлагаемые ответы.

1. Объекты, которыми интересуются гуманитарные науки, в сравнении с объектами наук о природе, имеют очень особенные аспекты. Эти объекты могут быть проклассифицированы в четыре группы: человеческие существа, человеческие группы, индивидуальные и коллективные продукты производства, события и процессы, которые составляют жизнь индивидуумов и коллективов. Индивидуумы какими их понимают эти науки, одарены сознанием, в частности, чувствительны к смыслам (фр. *significations*) и являются носителями намерений (фр. *intentions*) [35] и соответственно норм. Группы образованы не только множеством индивидуумов, которые в данный момент времени их составляют, но их внутренней структурой, их отношениями с внешним миром и их принципами динамической индивидуализации, в силу которых композиция группы, изменчивая во времени, детерминирована в каждый момент своей истории. Вдобавок каждая группа является носителем сложного и солидарного ансамбля представлений и коллективных институтов (институтов, которые являются относительно стабильными, которые составляют культуру, а также институтов, относительно преходящих, которые составляют «сознание» (фр. *esprit*) эпохи, темы, эмоции и императивы периода или момента политической жизни, настроения и социальные диспозиции, отвечающие контингентностям современности [36]...) – сущности, которые представляются каждому члену в радикальном аспекте предшествования и внешности [37]; группа также «секретирует» совместные намерения [38]; наконец, и в особенности эти представления, институты и намерения являются одновременно выражением и фундаментом группы. Таким образом, социальная группа неотделима от продуктов производства её членов, её подгрупп и её самой. Помимо объектов и материальных систем, представлений, институтов и, наконец, индивидуальных и совместных действий, которые конститутивным образом задействуют понятия интенции, воли и свободного арбитра, эти продукты производства

имеют значение. Индивидуумы и группы связаны не менее фундаментальным образом с событиями и процессами, в которые они вовлечены по-разному и которые составляют их историю.

II. В рамках классической концепции наукам о природе приписываются следующие цели: выявление универсальных законов (что предполагает квантификацию и измерение); поиск объяснений всякого явления, события или регулярности, которые не составляют фундаментальный закон; и наконец, предсказание (рассматривается оно или нет как симметричное объяснению). Что касается гуманитарных наук, то они пытались бы выделить смысл сингулярных сущностей, событий, институтов, обычаев, диспозиций, являющихся историческими в непосредственном смысле, в котором они располагаются в истории, и в более глубоком смысле, в котором их смысл в значительной мере, если не исключительно, исторический. «Объектом гуманитарных наук является понимание исторической и социальной реальности в её сингулярности и индивидуальности, познание того, какие согласования играют активную роль в генезисе особенного, и определение правил и целей его развития», - пишет Дильтай. [39]

Для обозначения выявления смысла (фр. *intelligibilité*) события или человеческого поведения (индивидуального или коллективного) принято употреблять глагол *comprendre* (рус. - «понимать»), общепринятый перевод с немецкого *verstehen*, противопоставляемый *erklären*, по-французски *expliquer* (рус. - «объяснять») – кажется, этот терминологический выбор восходит к Дроузену (Droysen) [40], прежде чем под пером Дильтая, Ясперса (Jaspers) и Вебера (Weber) различие не приняло современные коннотации и не поднялось до статуса философского паспарту (фр. *pas-partout* – универсальная отмычка). Оппозиция между пониманием и объяснением концептуальна; например, для Дильтая два демарша не исключают друг друга, они дополняют друг друга.

К этим поискам смысла добавляется, согласно некоторым нормативистским концепциям гуманитарных наук, взгляд на социальное, политическое, экономическое, даже духовное улучшение – употребляя выражение Новалиса (Novalis), немецкие мыслители «политического романтизма» предусматривают проект «культурного формирования всей земли». [41] Даже если мы будем отрицать наличие у гуманитарных наук этой прометеевой функции, как поступили не только, очевидно, натуралисты, но также такие историки как Гюстав Шмоллер (Gustav Schmoller) и немецкая «новая историческая» школа конца XIX века [42], мы вместе с Дильтаем должны допустить, что «они росли в практике жизни». [43] Место, занимаемое в науках о природе предсказанием, в гуманитарных науках было бы заполнено функцией социальной инженерии (в позитивистской версии, в частности, у Комта) или (в историцистских доктринах) родами «народной правды», культуры, Государства, и даже идеи. Ближе к нам во времени это русло продолжается в различных формах, различных политических оттенках, но главным образом левых и крайне левых: социальные науки занимаются социальной критикой, в частности, во франкфуртской школе и у *radicals* американцев.

III. В плане метода гуманитарные науки могут отличаться от наук о природе тремя способами, впрочем, связанными друг с другом.

Во-первых, если, также как науки о природе, они должны идентифицировать их объекты исследования, которые им не даны, в некотором роде, в виде простой инспекции, эта задача приобрела бы в их случае совершенно другой характер. В самом деле, в противоположность наукам о природе, объекты которых являются естественным образом очерченными множествами, «естественными видами» в широком смысле, моделью которых являются животные и растительные виды, гуманитарные науки должны изолировать в грохоте истории множества, единство которых обеспечивается лишь интенциональным содержанием, смыслом каждой сущности, относящейся к рассматриваемому объекту. Схватывание этого смысла было бы делом интуиции; оно потребовало бы углублённого знания эпохи, культуры, общества, населения и изучаемых пластов, к которому должен присоединиться специальный «талант», позволяющий улавливать глубокие, скрытые смыслы (фр. *significations*), заключённые в ситуациях, институтах и рассматриваемых событиях. Эта способность должна относиться больше к искусству, чем к позитивным методам. Более того, выделенные таким образом объекты зависели бы от принятой перспективы, не только в смысле, давно известном в эпистемологии наук о природе, но более глубоким образом, который, как мы это увидим через мгновение (в IV, *infra*), ставит под угрозу их объективность, потому что оно вводит в игру не только *теоретические* интересы учёного, но особенно его *практические* интересы, что, кажется, должно серьёзно скомпрометировать бы его объективность.

Во-вторых, схватываемые смыслы, о которых идёт речь, принадлежат особенному «царству», царству переживаемого агентами: это «внутренние» смыслы, такие, какими они их воспринимают или, при случае, в состоянии их сделать своими в подходящих условиях. Это, следовательно, не внешние причины, которым их прежде всего противопоставляют; но это также не то, от чего их гораздо труднее отличить, а именно смыслы, какими они являются наблюдателю спонтанно или путём вывода. Может дойти до того, что эти «внешние» смыслы войдут в конфликт с «внутренними» смыслами, как в случае лицемерия или идеологического помешательства (фр. *aliénation*); но в общем случае имеется более тонкое различие между ними, так как они зависят от контекста, свойственного самим агентам, контекста, который всегда отличается от того контекста, в котором располагается исследователь.

Этот последний должен выйти из своего индивидуального мира в пользу *эмфатической* установки или по крайней мере формы ментальной симуляции. [44] Как пишет Уильям Дрэй (William Dray): «Историк должен *проникнуть* по ту сторону видимости, через симпатию *идентифицировать себя* с протагонистом, посредством воображения *спроектировать себя* в ситуацию, в которой он находится. Он должен *пережить, проиграть, промыслить, заново проделать опыт* надежд, страхов, планов, желаний, мнений, интенций тех, кого он пытается понять.» [45] Так как целью гуманитарных наук является *verstehen*, они не могут иметь другого выбора, кроме эмфатического метода, который, очевидно, является чуждым наукам о природе.

Наконец, в-третьих, в противоположность материальным системам, к которым применим аналитический метод, так как они объективно составлены из частей, существующих независимо от системы и предшествующих ей, социальные системы и в особенности семантические системы, которые их составляют, или по крайней мере являются их существенным измерением, суть «органические» целые – характеризующиеся так потому, что это явление, «холизм» [46], вначале было идентифицировано



биологическими науками. Подобно тому, как это делает Дюркайм [47], иногда его формулируют в следующем виде: «Целое больше, чем сумма его частей», что, в лучшем случае, может служить в качестве памятки, так как, что хочет сказать эта формула? Как образуется «сумма» частей целого? Вот гораздо более ясная формулировка, которой мы обязаны Вертаймеру (Wertheimer) [48], который как Кёллер и другие основоположники *Gestalt*, эксплицитно ссылались на Дильтая [49]: «Существуют артикулированные множества [*Zusammenhänge*], в которых то, что случается с целым, не происходит из того, что есть индивидуальные части, *ни из их взаимной артикуляции* [50] – но, напротив, в которых процесс, который оказывает влияние на каждую из частей этого целого, как таковой определён ему принадлежащими структурными законами.»

Дильтай приписывает *verstehen* холистической черту и упрекает *erklären* лишь в том, что оно аналитично, что не упраздняет его, но лишь делает недостаточным: тогда как метод наук о природе состоит в том, чтобы разложить целое с тем, чтобы затем реконструировать его в концептуальной «лаборатории» учёного, метод *verstehen* состоит в том, чтобы соединиться с психической реальностью изучаемого объекта в его изменчивой полноте; или, как говорит Фройд (Freud), «структурно совместиться» с ним. Каким образом, однако, избежать интегрального субъективизма и, одновременно, искушению узкоиндивидуалистического психологизма? Дильтай обеспокоен этим, особенно в случае истории. Решение, которое он развивает в одной более поздней своей работе, переведённой на французский язык со значительным опозданием [51], основывается на герменевтической идее, которая была заимствована Шляермахером (Schleiermacher) из филологической традиции и подходящим образом адаптирована. Грубо говоря, речь идёт о том, чтобы подставить вместо единственного движения туда и обратно (от целого к частям и от частей к целому), характерного для аналитико-синтетического демарша наук о природе, бесконечный цикл последовательных приближений, частичное понимание элементов, или, в случае истории, моменты, чередующиеся с предварительными представлениями целого. То, что предохраняет эту идею от плоскости, применимой к какому угодно поиску, полицейскому также как и научному, с одной стороны, магии, с другой стороны, это то, что она комбинируется с понятием понимания: она применяется не к материальным целостностям, но к смысловым целостностям, которые исторически развёртываются в движении, который воспроизводит герменевтический анализ. Как писал Раймонд Арон (Raymond Aron) в близком, но отличном контексте, «полнота, по определению, совмещается с самой исторической эволюцией». [53]

Дильтай лишь начинает длинное исследование, которое в руках последующих авторов, таких как Гадамер (Gadamer) или Рикёр (Ricoeur), поведёт герменевтику по путям, которые я не смогу здесь изложить с тщательностью, которые они заслуживают. Тем не менее, в дальнейшем я постараюсь лучше очертить гипотезу принципиальной несовместимости интерпретационного метода и натурализма.

IV. Рассмотрим, наконец, отношение *учёного к объекту своего исследования*. Я неоднократно говорил о переплетении теоретического и практического в гуманитарных науках; это переплетение приобретает характер очень отличный от того, который мы имеем в случае наук о природе, так как практическая размерность присутствует одновременно в объекте и сюжете познания: ценности и действия являются конститутивными элементами области гуманитарных наук, и они переносимы учёным

как членом общества или человеческого сообщества; он, следовательно, *двойным образом* связан с ними. Очевидно, в этом отношении ситуация социолога, экономиста, историка радикально отличается от ситуации физика, химика или биолога, даже если последние интересуются, например, вопросами, потенциально связанными с производством оружия массового уничтожения, материально или морально опасных субстанций или организмов.

Но эта ситуация есть лишь аспект общего автореференционного механизма. Не одни лишь ценности, которые проповедует или отвергает человек науки, не позволили бы ему мысленно исключить себя из мира, который он изучает, и, таким образом, квази-автоматически гарантировать объективность своего демарша. Этот последний зависел бы, вплоть до своих наиболее фактических измерений, от предварительного понимания, которым обладает учёный, факта своего «вовлечения» в конкретное человеческое предприятие, которое имеет смысл лишь в силу своего погружения в более широкий контекст, человеческий контекст. Но именно в этом же самом контексте варится также человеческое предприятие, которое он изучает и которое, таким образом, ему невозможно отделить от его собственного... В этом смысле учёный с необходимостью находится в ситуации самоанализа. Речь не идёт о грубой ловушке, в которую релятивисты пытаются заманить объективистов всех мастей и которую, например Поппер, намеревается раскрыть [54]: *egocentric predicament*, который делает из нас заключённых нашей собственной концептуальной схемы. Это гораздо опаснее, так как насколько общая идея концептуальных схем, культурно обусловленных или же нет, к которым наша мысль якобы безнадежно прикована, - насколько эта идея остаётся туманной в отсутствие убедительных примеров, настолько бросается в глаза, что наша общая практика человеческих существ на каждом шагу ведёт нас к нашему раскрытию другого. Далее мы увидим, что неонатуралист пытается обернуть это оружие против своего противника – релятивиста: именно инвариантность концептуального аппарата, свойственная виду, придаёт объективность результатам натуралистского исследования человеческих явлений – несомненно, внутреннюю объективность : науки о человеке, развитые на Марсе, могли бы значительно отличаться от наших. Но имеет ли марсианская физика больше причин равняться на земную физику? Тем не менее, автореференционный механизм, которому, как кажется, подчинено наше исследование науки о человеке, придаёт этой последней неустойчивость, которая, как кажется, не угрожает наукам о природе.

Перейдём к третьему и последнему источнику сложностей. Речь идёт об обратном эффекте, который оказывают на реальность, которая является объектом их исследования, теоретические решения, гипотезы, результаты науки.

Детектировать течение мысли, стремление, недовольство, то есть изолировать множество представлений или множество индивидуумов (тех, которые являются носителями, этого течения, этого стремления, этого недовольства), - это почти с необходимостью повлиять на эволюцию вещей, сознательно или нет, в желаемом смысле или нет; это, например, сделать возможным и иногда обязательным помещением такого-то жеста, такого-то индивидуума, такого-то слова в категорию, которую, в одно и то же время, в некотором смысле детектировали и в некотором другом смысле создали, и заставить его разделить с участниками этой категории особую судьбу. [55] Выражаясь более банально, анализ и детальное представление культурного явления стремится придать ему особый блеск и породить *bandwagon effect* – каждый

присоединяется к толпе и хочет взять свою часть того, важность чего вдруг кажется очевидным.

Это явление обратного действия (фр. *rétroaction*) [56] мысли на мир приобретает особую важность в том случае, когда научный демарш имеет преобразовательную цель: в прошлом детектируют движение мысли, например, для того, чтобы оправдать или стимулировать, или, наоборот, стигматизировать или затормозить движение в настоящем времени. Это не совсем то же самое, что принять желаемое за действительное, но найти в реальности обещание реализации своих желаний и *тем самым* стремиться в неё привнести, не предполагая хоть какое-нибудь намерение в манипуляции. Дорогие Попперу самореализаторские предсказания (*self-fulfilling prophecies*), которые социолог Роберт Мертон (Robert Merton) называет «самореализацией антиципаций», основываются на этом же механизме. [57]

Кажется, что антинатуралистические или дуалистические аргументы аккумулируются ; нам угрожает скорее их избыток, чем недостаток. Можно, следовательно, спросить себя, имеется ли во всём этом *один* действительно решающий аргумент, такой, что либо другие аргументы были бы его следствием, либо он действительно убедил бы нас в ложности монизма. И какой монизм среди всех доктрин, которые требуют этого термина, был бы таким образом обречён? Мы двигались слишком быстро для того, чтобы оценить реальное значение рассмотренных аргументов. Нужно, следовательно, вернуться к нескольким узловым пунктам дискуссии, не претендуя на исчерпанность.

*В поисках решительного аргумента против монизма*

Диалектическая ситуация

Для того, чтобы прояснить на этой стадии нашей дискуссии карту возможных путей, возможно, полезно подчеркнуть, что три, а не два основных выхода вырисовываются на горизонте. Эта трихотомия получается двумя способами:

А. Сделайте выбор 1: Являются ли так называемые гуманитарные науки науками? Если Ваше решение негативно, Вы получаете этикетку Скептик. Если Ваше решение положительно, перейдите к выбору 2: Являются ли они науками в том же смысле, что и науки о природе? Если Вы отвечаете положительно, Вы получаете этикетку Мониста; в противном случае этикетку Дуалиста (или Бифуркациониста).

В. Являются ли так называемые гуманитарные науки формой познания той же природы, что и науки о природе? Если Ваше решение положительно, Вы Монист. Если Ваше решение отрицательно, перейдите к выбору 2' : Являются ли они науками? Если Вы отвечаете да, Вы Дуалист; в противном случае, Скептик.

Этот способ видения не пользуется симпатиями у всех монистов: наиболее часто они валят в одну кучу (фр. *mettent dans le même sac* ; досл. пер.- кладут в одну сумку) Скептиков и Дуалистов и стремятся опровергнуть их оптом. [58] Он, однако, имеет ту заслугу, что он лучше подходит к полемической ситуации. Не только в действительности сталкиваются три, а не два лагеря, но как во всякой треугольной борьбе, промежуточная партия находится в нестабильной ситуации: Дуалисты постоянно склонны или подвержены угрозе перекинуться или быть опрокинутыми либо на сторону Скептиков, либо на сторону Монистов. Это хорошо показывает

двойной доступ к трихотомии: радикалы, Скептики и Монисты, обычно выбирают дерево решений А; умеренные, Дуалисты, стремятся предпочесть В.

Довольно сложные дебаты, которые мы рассмотрим, – о действии, об интерпретации и историчности, – возможно, лучше понимаются в свете этой схемы.

*Онтологический аргумент: свобода и интенциональность действия*

Если по примеру многочисленных мыслителей определить область гуманитарных наук как множество эффектов человеческого действия или по крайней мере предположить, что эти эффекты занимают в этих науках значительное место, то в таком случае действие фигурирует на видном месте в онтологии этих наук. Однако действие имеет две черты, которые нельзя найти в науках о природе: оно свободно или может быть свободным, и оно интенционально в философском смысле этого термина. Мы последовательно исследуем проблемы, которые поднимают эти два свойства.

**СВОБОДА.** Дильтай утверждает, что свобода проводит между гуманитарными науками и науками о природе неуничтожаемую границу. В действительности, вопрос является запутанным, и свобода приводит к двум различным трудностям.

*Первая трудность: конфликт с детерминизмом.* Если свобода понимается как простая самодетерминация сюжета (через мгновение мы увидим чему противопоставляется эта «простота»), то трудность возникает из оппозиции, которую некоторые видят между самодетерминацией и идеей, что единственно детерминизм делает возможной науку. Здесь открываются два пути: либо эта самодетерминация сама по праву может быть оправдана наукой, так как она подчиняется внутренней детерминации, либо нет.

В свою очередь, первая ветвь подразделяется: можно либо полагать, что наука внутреннего пространства, которую можно было бы назвать психологией, удерживает ключ для решения проблемы, и что полезно взяться за неё; либо полагать, что по теоретическим или практическим причинам в предсказуемом будущем такая наука не будет в состоянии дать искомые объяснения. Защитники первой опции обычно не верят в то, что психология даст полную теорию, но что она лишь позволит гораздо лучше чем сегодня специфицировать внутренние ограничения, которые ориентируют на то, что агент воспринимает как свой свободный выбор. Ориентируют таким образом, что различными путями первая ветвь приводит к защищаемой Миллем идее приближённого знания, достаточно сравнимого с наукой о приливах и отливах, легитимность и утилитарность которого не вызывает никакого особенного сомнения; и отсюда - к идее вероятностного знания, понятого эпистемически как результат невозможности полного определения требуемой информации.

Вторая ветвь ведёт к объективистской версии этой концепции: гуманитарные науки вероятностны, на этот раз в силу «действительной» или последней неопределённости процессов, которые она изучает. Несомненно, эта неопределённость ограничена условиями, выявление которых составляет часть научного исследования, другая часть состоит в развитии формальных инструментов с объяснительной или предсказательной целями, позволяющих выразить эффект, который оказывают эти условия на суждения, решения и действия индивидуума или множества индивидуумов – теория игр и, в более

общем случае, теории выбора. [59] Интерпретация этих теорий варьируется: здесь можно видеть либо психологические модели, либо синтезы причин, доступных идеальному агенту в ходе его делиберации (фр. *délibération* – психологич. понятие, означающее... ; досл. - обсуждение, размышление), либо предсказательные теории, успех которых обеспечен элиминацией посредством естественного отбора агентов, неспособных привести своё поведение в соответствии с теоретическим оптимумом.

Как бы то ни было, если бы Милль полтора века тому назад мог выдвинуть по крайней мере правдоподобный аргумент против идеи, что свобода представляет угрозу методологическому единству наук, кажется, что сегодня его довод был бы услышан: со времён Милля, с одной стороны, гуманитарные науки действительно создали необходимые формальные инструменты, и, с другой стороны, науки о природе полностью ассимилировали индетерминизм как факт (без того, чтобы существовало единогласие насчёт природы индетерминизма). Можно было бы добавить, что, как Вундт (Wundt) и потом Дильтай (Dilthey) это скажут сорок лет после Милля, гуманитарные науки *существуют* – это ещё более очевидно сегодня -, что показывает, что действительно имеются регулярности в человеческом мире, а не хаос, являющийся результатом изолированных, свободных или случайных актов. Отметим также, не задерживаясь на этом, что в глазах некоторых философов таких, как Дэвидсон [60], здесь никогда не было реальной проблемы.

*Вторая трудность: свобода как конститутивная часть действия.* Проблема, возможно, привносится со стороны. Подобно Дильтаю можно рассматривать свободу не как объективное разъединение между действием и естественными причинами (в которые Дильтай, впрочем, не верит), но как сознание суверенитета своей воли, которым обладает индивидуум, это ощущение возможности отгородиться в самом себе как в крепости, образовать, согласно выражению Спинозы, *imperium in imperio*. Если, как это полагает Дильтай, верно, что «для него существует лишь то, что является фактом его сознания», одна внешняя причинность сама по себе не может привести к полному пониманию действия – действие не есть лишь материальное событие, в котором оно проявляется, но смысл, который ему приписывает агент, смысл, который включает происхождение действия в воле, а не в причинах, ни даже, по крайней мере непосредственно, в мотивах агента. Ответ Милля на этот раз не пригоден: если речь идёт о том, чтобы принять к рассмотрению внутренний порядок, тогда внешние условия, даже если они надлежащим образом сделаны вероятностными или им придана диалектическая форма благодаря теории игр, попросту кажутся лишёнными важности.

Этот аргумент, однако, не потрясает натуралиста. Замечая, что мы далеки от того, чтобы понять, что такое причинное объяснение, и что сами науки о природе не ограничиваются этим типом объяснений, натуралист оставляет от аргумента лишь следующее утверждение: область свободных действий не подчиняется объяснительным категориям физики, но в этом нет ничего такого, что натуралист был бы вынужден отрицать. Он не претендует на то, что гуманитарные науки есть не что иное, как разделы наук о природе такие, какими мы их знаем; *a fortiori*, что в действительности они не что иное, как сорт механики или по крайней мере физики. Можно довольствоваться условием универсальности, требующим, чтобы гуманитарные науки не претендовали на исключительное положение *до того*, как они принимаются за работу; и что, подобно другим наукам, кроме, возможно, фундаментальной физики, они совместно вырабатывают свою онтологию и свою методологию во взаимнообратном движении между теорией и практикой.

Предполагая это, свобода, или инициатива, воля и, следовательно, сознание, ни в коем случае не являются решёнными вопросами, и психология и в более широком плане когнитивные науки являются науками, которые обеспокоены этим сегодня. Было бы наивным полагать, что эта обеспокоенность прекратила или прекратит завтра преследовать науки о человеке. Имеется, кроме того, более радикальный способ мыслить свободу; я затрону его лишь в конце главы, потому что он появляется в дебатах позже и потому, что он, как мне кажется, указывает на нового типа границу империи гуманитарных наук, понятых в натуралистическом (фр. *naturaliste*) смысле.

**ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ.** Согласно нашему слишком быстрому анализу, проблема свободы становится действительно угрожающей лишь в своей «интериоризированной» форме: вещи усложняются, когда замечают, что осмысленность акта для сюжета конститутивно подразумевает его качество акта свободного. Здесь мы касаемся самого острия центральной проблемы смысла, каковой её видели немецкие философы, начиная с Дройзена (Droysen). Трудность не происходит по крайней мере на начальном этапе, из идеи разъединения между миром причин и миром смыслов. Она возникает из идеи, что для изучения человеческих действий важны *внутренние* смыслы, прямо или косвенно мобилизованные этими действиями – «внутренние» означает, что речь идёт о смыслах таких, какими они являются или могли бы являться в благоприятных условиях самим агентам, будь они сюжеты, объекты или ангажированные свидетели рассматриваемых действий. Именно «*self-understanding*» имеет значение. Причина этого проста: действие есть ничто иное, как поведение, ведомое доводами, а довод состоит из смыслов-для-агента. Действие обладает *интенциональностью*, оно включает в себя ссылку на *смысл*. С другой стороны, оно *может* являться результатом свободного выбора агента, быть *интенциональным* (то есть, преднамеренным – замеч. пер.) в обыденном смысле этого слова, но это уже другой вопрос. Одно и то же осцилляционное боковое движение головы для французского наблюдателя означает негативный ответ, отказ или неодобрение; для автора жеста, если он ирландец, он означает приветствие или одобрение. *Недоразумение*, которое из этого возникает, может быть понято лишь исходя из смыслов, которые каждый приписывает рассматриваемому жесту. Кроме того, можно сделать этот жест, не *желая* того, из-за страха, слабости воли, рассеянности... в этом случае у агента имеется *внутренний конфликт*. Проблема, которой мы занимаемся, не нежеланное действие, но интенциональное содержание действия.

Вообразим Пьера, который встречает на улице директрису начальной школы, которую посещали его дети; в то время он был сердит на неё, и он спрашивает себя о том, не должен ли он предложить примирение. То, что он намеревается сделать, потом решается сделать, это не переместить свою руку и свою кисть таким образом, что его шляпа будет на мгновение приподнята на пять сантиметров поверх его головы; это не дать случай замаскированному фотографу проиллюстрировать статью об обычаях маленького провинциального городка; не модифицировать циркуляцию воздуха вокруг своего затылка; то, что Пьер обдуманно делает (даже если он не обратил на это никакого внимания, например, в другом случае, в котором он никогда не имел конфликта с директрисой), это поприветствовать директрису местной школы, которую в своё время посещали его дети. Агент решается сделать X, и осуществляет свой выбор, делая Y : первое «сделать» имеет, по всей видимости, смысл, отличный от смысла второго – в самом простом случае X выполняется агентом, тогда как Y выполняется, на

самом деле, лишь частью тела агента. Таким образом, историк, экономист, социолог, который в целях удовлетворить своей теории или в поисках единственного объяснения классифицирует событие как случай «сделать»  $Y$  (в смысле: «иметь в качестве непосредственного намерения действовать  $Y$ -ким образом» [61]), ошибается – он, например, рискует поместить в одну и ту же группу действий два различных действия  $X$  и  $X'$ , потому что они были реализованы одинаковым исполнением  $Y$  при двух различных обстоятельствах и/или различным агентом. Если бы Пьер поприветствовал, например, директрису, спугав её с фармацевтом, его действие  $X'$  было бы совершенно другим, нежели  $X$ , тогда как  $Y$  (положим: приподнять шляпу в момент, когда мы отделены расстоянием приблизительно в один метр от этого человека [директрисы школы], который направляется ко мне) было бы идентичным.

Естественно, имеются трудности: нелегко сказать, что делает из  $X$  действие действительно ангажированного агента, а из  $Y$  нечто, что есть лишь реализация или исполнение  $X$ ; впрочем,  $Y$  может быть настоящим действием. Часто имеют дело с каскадами действий, таких как  $X$ : «Примириться с директрисой школы»,  $Y$ : «Поприветствовать директрису школы», и даже  $Z$ : «Обнаружить себя, встречая директрису школы»... Но мы должны постулировать, что наступает момент, когда остаётся лишь чистое движение, движущее событие, которое как таковое больше не является действием: агент не выбрал его таковым, не потому ли, что он не осознаёт его, и даже, в наиболее ясных случаях, потому что немислимо, чтобы он мог его выбрать или даже осознать его (например, сокращение некоторых мускулов).

Трудности, которые встречает анализ действия [62] не должны заслонять перед нами центральную идею: для того, чтобы идентифицировать действие, недостаточно описать его внешние проявления; нужно идентифицировать его внутренний смысл. [63] Однако, несмотря на то, что в большинстве случаев в обыденной жизни мы имеем ощущение того, что мы можем обойтись без него или можем *вывести* эту «внутренность» исходя из внешних проявлений, речь идёт об иллюзии. Требуется *интерпретация* – то, что натуралисты, как мы это увидим через мгновение, не оспаривают.

Нужно ли на основании того, что действия частично индивидуализированы доводами (фр. *raisons*) агента, и, как настаивают на этом сторонники Виттгенштейна, доводы не являются причинами (фр. *causes*) (довод накладывает ограничения на природу, он лишь привлекает внимание агента), в поиске объяснений действия (и, исходя из институтов и социального мира, взятого целиком) отвергать всякий внешний фактор, то есть фактор, не опознанный агентом, и, в более общем случае, всякое описание этих действий в других терминах, нежели тех, на которые агент способен сослаться или которые он способен признать? Это то, что утверждают радикальные интерпретативисты, такие как Питер Винч (Peter Winch), и что хором отрицают умеренные интерпретативисты, такие как McIntyre, которые согласны здесь с натуралистами – что без труда объясняется в свете общей диалектической схемы, предложенной выше. Для всех, кроме скептиков, объяснение должно быть способно привлечь в соответствии с нуждами ситуации внутренние и внешние доводы (*raisons*), вне предварительной методологической цензуры. Вообще говоря, доводы сами имеют то доводы, то причины, и зачастую те и другие комбинируются, несмотря на их онтологическую разнородность. Нужно всё же отметить, что статус этих гибридных объяснений (или, согласно выражению Дэвидсона [64], «гермафродитных») остаётся проблематичным, тем более, что понятие научного объяснения остаётся

дискутируемым – именно в этом, как известно, состоит основная забота многочисленных современных философов наук. [65] Как можно было ожидать, тема находит своё продолжение в когнитивных науках [66] – поиск объяснений является, в конце концов, более отличительным и более универсальным симптомом человеческой природы, нежели владение целыми числами.

Заключение, которое сделал McIntyre, критикуя Винч (Winch), состоит в следующем. Гуманитарные науки должны, как это утверждает Винч, начать с установления точного описания социальных фактов таких, какими их понимают действующие лица. Но со стороны Винча (и, добавим, многих радикальных интерпретативистов) является ошибкой полагать, что их задача на этом заканчивается. Затем, подобно другим наукам, они должны искать причинные обобщения. Как хорошо заметил Винч, если, например, в случае самоубийства нужно *исходить* из концепции, которая интегрирует свой смысл для агента, остаётся, как это утверждал Дюркайм, причинно объяснить наблюдаемые в уровне самоубийства различия в зависимости от места и времени и, возможно, попытаться повлиять на этот уровень посредством подходящего (причинного) вмешательства. Уже Вебер (Weber) защищал место причинного объяснения против того, что он рассматривал как односторонность в критической философии Рикера (Rickert) и Дильтея, и его дуальная позиция в значительной мере предвещала позицию McIntyre или Будона (Boudon) [67].

Эта двухэтажная «модель» естественна и поэтому привлекательна – впрочем, она защищается в различных формах умеренными сторонниками хэмпелевской [68] монистской концепции, такими как Дэвид Папино (David Papineau). [69] Тем не менее, она должна отразить многочисленные возражения, из которых два в особенности препятствуют установлению единогласия. Первое состоит в том, что внутренние смыслы (*le self-understanding* агентов) и внешние эффекты (точки приложения причинности), возможно, не являются независимыми: можно представить себе, что они взаимно формируются в постепенном движении производства и экспликации. Второе состоит в том, что внутренние смыслы, возможно, не детерминированы научным методом и даже – каким бы то ни было методом. Мы приходим, таким образом, к вопросу об интерпретации.

Методологический аргумент:  
каким образом интерпретация могла бы быть  
научной?

Начнём с очень простого сравнения. Вообразим врача, который при наличии данной клинической картины делает заключение о нашествии организма пациента определённым патогенным агентом, положим бациллой Коха, ответственной за клиническую картину. И, с другой стороны, вообразим исследователя в области гуманитарных наук, например, экономиста или социолога, который, наблюдая данное поведение (индивидуальное или коллективное) делает заключение о присутствии у агента или рассматриваемых агентов определённых верований и желаний; для того, чтобы фиксировать идеи, вообразим антрополога, который наблюдая церемонию заклинания злых духов, выводит из неё присутствие у участников верований относительно действия в племени злого демона, верований, которые ответственны за наблюдаемое поведение; или социолога, который, наблюдая популяцию потребителей, в массовом масштабе покупающих овощи «гарантировано нет-ОГМ», выводит из этого



наличие в этой популяции сильно укоренившегося верования о возможной вредоносности OGM. Врач ставит этиологический диагноз, антрополог и социолог интерпретируют ритуал или покупательское поведение. Конечно, это не одно и то же, но между обоими подходами имеются разительные аналогии: в обоих случаях высказывается гипотеза относительно скрытых сущностей, присутствие и свойства которых объясняет состояние и наблюдаемые преобразования рассматриваемой системы. Поставим теперь ключевой вопрос: выступает ли эта аналогия, которая, очевидно, не исключает различия, в пользу глубокого единства метода, не является ли интерпретация лишь частной формой, которую приобретает в гуманитарных науках поиск скрытых сущностей, свойство интенциональности (смысловой нагруженности) которой не приводит к какой-либо существенной разнице. В зависимости от того, ответите ли Вы на этот вопрос да или нет, Вы, по всей видимости, будете отнесены к лагерю натуралистов или же к противоположному лагерю.

Но вопрос усложняется в разных отношениях - приведём тому один пример. Если интерпретировать означает искать смысл, кажется, что смысл с необходимостью должен существовать. Однако это лишь видимость, грамматический эффект: подобным же образом можно «искать себя», не постулируя пресуществующее «я» (фр. «soi» préexistant), которое нужно было бы найти (фр. appréhender), подобно тому как ищут преступника. Совершенно очевидно, что в зависимости от того, верите Вы или нет в существование смыслов (фр. significations), интерпретационная активность приобретёт различные аспекты. Элиминативист-натуралист не признает за нею какой-либо значимости, кроме эвристической; элиминативист-антинатуралист увидит в ней социальную активность, имеющую ненаучную природу. Что касается реалиста относительно интенциональных сущностей, то он увидит в ней либо метод, соответствующий канонам методологии наук о природе (или метод, который мог бы стать таким), либо научный метод *sui generis*, заменяющий собой методы наук о природе или присоединяющий себя к ним, но никоим образом к ним не сводящийся.

Таким образом, в противоположность монисту-натуралисту, скептик и дуалист видят в интерпретации демарш, не редуцируемый к методам наук о природе. Из этого первый делает заключение о том, что гуманитарные науки не являются науками либо потому, что по самой своей природе они должны прибегать к этому методу, который не является научным, либо потому, что они не должны были бы прибегать к нему, но, вследствие отсутствия другого решения, как кажется, не способны обойтись без него. Второй из этого выводит, что гуманитарные науки являются настоящими науками, но отличными от наук о природе. Со своей стороны, монист может присоединиться к скептику второго сорта и полностью отвергнуть интерпретацию, но тогда он должен отделить себя от него по вопросу о том, является ли она обязательной: скептик думает, что да, он думает, что нет. Наоборот, он может присоединиться к дуалисту для того, чтобы отдать должное роли интерпретации, но тогда он должен противопоставить себя ему по вопросу её соответствия методологии наук о природе: наш монист второго сорта считает её соответствующей [70], дуалист - несоответствующей.

Перейдём к скептическим или дуалистическим аргументам против монистической концепции интерпретации. Их три, вместе со всеми видами вариантов и последующих бифуркаций.

**ПЕРВЫЙ АРГУМЕНТ.** Он имеет в качестве предпосылки констатацию, что для того, чтобы интерпретировать наблюдатель должен употребить знание или способность,

умение делать, *knowing-that* или *knowing-how*, эквивалента которого не существует в науках о природе. Эмфатический метод, или симуляция, как мы это видели, состоит в том, чтобы стать на место рассматриваемого агента и проконсультироваться в этой воображаемой ситуации со своими собственными чувствами, эмоциями, желаниями и верованиями. Для Чарльза Тэйлора (Charles Taylor) [71] при отсутствии «предпонимания» человеческого опыта или, по крайней мере, части опыта, относящегося к наблюдаемым практикам, действиям или событиям, интерпретация невозможна. Что может понять наблюдатель, не имеющий никакого опыта современных экономических отношений, если он присутствует при подписании чека; или наблюдатель, не имеющий никакого понятия о религии, который попытался бы схватить смысл распределения просфоры? Что нужно знать о человеческом мире, с которым мы знакомы для того, чтобы понять, в чём состоит разрыв переговоров? Другие, которые относят себя к натуралистам и пытаются опровергнуть аргумент, приводят примеры клинических случаев – отистов, психопатов, *cérebrolésés* [72], чисто рациональные способности которых остаются незатронутыми, но которые неспособны понять тот или иной простой, но фундаментальный элемент человеческого существования (фр. *condition humaine*), в частности, в области взаимности (притворство, заинтересованный обмен, уважение правил и принятых обязательств, честь, желание реванша...) или «вторичные» эмоции, как сожаление или стыдливость.

Другая версия того же общего аргумента, версия антрополога Клиффорда Гирца (Clifford Geertz) [73], противопоставляет индукцию *на случаях*, которая практикуется науками о природе, индукции *в рамках одного и того же случая*, к которой, согласно ему, прибегают гуманитарные науки. Под этим он понимает переход от неполного описания практики, действия, события и так далее к их полной интерпретации, то есть к включению их в сеть смыслов, в силу которых они становятся полностью понятными. Этнолог наблюдает старшин, тайно собравшихся на окраине деревни; проинтерпретировать это событие означает перейти от множества непосредственно доступных значимых элементов к более широкому множеству полной совокупности смыслов таким образом, что собрание теперь выглядит, например, как конспирация или как нормальное исполнение политического решения и власти вместе со всем, что включает в себя одна или другая из этих практик, то есть её связи с множеством других важных практик, верований, действий, запретов... Однако, согласно Гирцу, этот индуктивный переход не может опираться на рассмотрение других похожих случаев: это потребовало бы предварительной идентификации типа, экземпляром которого является изучаемый случай. Нужно, следовательно, чтобы вывод опирался на опыте, интуиции или любой другой форме, подразумеваемой способности этнолога.

Этот первый аргумент в своих различных версиях имеет следующее заключение. В той мере, в которой, как мы должны признать, задействованные в интерпретации ресурсы не могут быть точным и исчерпывающим образом переведены в множество знаний или эксплицитных правил, не могут быть интегральным образом объективированы и сделаны публичными, интерпретационный демарш сохраняет нередуцируемую часть субъективности. [74] И в той мере, в которой, как мы должны признать, гуманитарные науки должны с необходимостью прибегать к нему, в силу этой причины они отделяются от наук о природе.

**ВТОРОЙ АРГУМЕНТ.** Он в широкой степени воспроизводит первый аргумент, но выводит из более точного анализа недискурсивной части процедуры предпосылки

более сильного заключения, а именно, что интерпретация является круговой. Знаменитый «герменевтический круг» приобретает у многочисленных авторов, которые на него ссылаются, различные формы. Как мы видели, Дильтай понимает его как взаимообратное движение между интерпретацией частей и интерпретацией целого. Для него этот метод позволяет преодолеть противоречие между аналитическим демаршем наук о природе и необходимостью сохранения полноты явления; первоначально дильтаевская герменевтика являлась ответом на проблему холизма. Но в современном контексте она приобретает более общий смысл и опирается на концепцию интерпретации как циркуляции между двумя уровнями смысла или понимания, циркуляции, которой никакое последнее основание не кладёт конец. В герменевтическом смысле интерпретация состоит в переносе смысла между одной субъективностью и другой и, как только вмешивается третье сознание, с необходимостью нуждается в новом переносе с тем, чтобы поставить вопрос о том понимании первого сознания, которое предлагает второе. Мы уже отметили наиболее простую фигуру этого круга: предварительное понимание ситуации, без которого её интерпретация невозможна – другими словами, для того, чтобы понять, нужно уже обладать пониманием. Чтобы проникнуть в определённый человеческий мир, нужно уже являться его частью. Если круг вращается без конца, то это потому, что понимание никогда не является ни достоверным, ни полным, и интерпретация должна быть объектом критики, пересматривания, и что в силу существенной *однородности* между интерпретацией и его объектом, между действующим лицом и наблюдателем никакой арбитраж не представляется возможным. Если круг всё-таки не порочен, плодотворен, то это потому, что в соответствии с образом спирали возврат не приводит к исходной точке, но к более высокому интерсубъективному пониманию. Две идеи усложняют эту первую фигуру. Первая состоит в том, что интерпретация не может обладать нейтральностью, которой обладает научное наблюдение сущностей, лишённых сознания: интерпретировать означает взаимодействовать, следовательно, модифицировать то, что интерпретируем – цель перемещается по мере того, как она становится объектом внимания, обратное также может быть верно: социологу, экономисту, антропологу знакомо первое явление, историку может быть знакомо второе [76]: человек является *self-interpreting animal* созданием, существование которого частично состоит в самоинтерпретации. Если это верно, то «гетероинтерпретация» состоит в том, чтобы придать смысл активности, частично состоящей в придании смысла самому себе, с необходимостью опираясь для этого на «гетероинтерпретации», объектом которых он является.

Наконец, ко всему этому добавляется лингвистическое или семиотическое измерение, к которому отсылает примитивный смысл герменевтики. На первом уровне язык предстаёт без маски, в форме слов и текстов, которые составляют важную часть интерпретируемого материала, и некоторых принципиальных инструментов доступа к этому материалу, в той мере, в которой возможно провести различие между ними – археолог использует геологические метки и лопату, чтобы добраться до зарытых инструментов или глиняной посуды, но это скорее исключение, чем правило: этнолог употребляет слова, чтобы проверить услуги информатора, и, опять же, слова, чтобы по своим каналам добраться до слов сюжетов, которые он изучает. На втором уровне язык играет роль посредством своей связи с мыслью, как мыслью учёного, так и мыслью агентов. Здесь устанавливается асимметрия: в той мере, в которой агенты не имеют в качестве первой, во всяком случае, в качестве единственной заботы выразить в словах и фразах смысловое содержание их действий, и, в более общем случае, в той мере, в которой то, что представляется учёному приобретает формы вне очевидной связи с

языком, в той же мере учёный должен произвести, в конечном итоге, слова и фразы для того, чтобы выразить смыслы, переносимые изучаемым им сюжетом. Как говорит Дэвидсон, для наблюдателя (будь он учёным или нет) фразы языка в той же мере являются абстрактными объектами, которые он может использовать для определения установок другого человека – и, в более общем случае, мы бы добавили, если речь идёт об учёном, это всё, чем он обладает для того, чтобы учесть всё то, что принадлежит области его теории. Но согласно многочисленным защитникам герменевтического подхода наличие асимметрии есть лишь видимость: согласно им существует последний уровень, тот, на котором вместо языка возникает в буквальном смысле всеохватывающая семиотическая среда, состоящая из множества значимых сущностей, носителем которых является объект исследования; учёный оказывается перед текстом, написанным на этом расширенном языке, и даёт ему нечто вроде перевода на другой язык, язык науки.

Заключение, кажется, состоит в том, что гуманитарные науки основываются на подходе, который с необходимостью является круговым, и, по меньшей мере, или также по этой причине, отделяются от наук о природе. Если работа этих последних также никогда ими не завершается, то это по банальным причинам ограниченности наших эпистемических или материальных ресурсов: она на законном основании завершаема и, кстати, целые разделы наук о природе действительно виртуально завершены. Что касается гуманитарных наук, то они не завершаемы на законном основании. Такова по крайней мере общая форма, которую дуалисты придают этому второму аргументу.

**ТРЕТИЙ АРГУМЕНТ.** Это аргумент, к которому как раз приводит рассмотрение языка. Речь идёт о холистической природе интерпретации. Если, как это думает большинство современных философов, интерпретация естественного языка имеет фундаментально холистический характер, то интерпретация в общем смысле, которую ему придают гуманитарные науки, наследует этот характер – в зависимости от выбранного уровня, либо непосредственно и полностью (если мы предположим, что третий уровень существует), либо частично и косвенно (если мы находимся на втором уровне), либо, наконец, частично и непосредственно (если мы находимся на первом уровне). Этот аспект интерпретации был неоднократно упомянут, но он приобретает новый оборот в лингвистической или семиотической перспективе, и в своей современной версии он питает утончённую форму дуализма, готовую превратиться в скептицизм по отношению к гуманитарным наукам.

Куайн (Quine) защищал идею о том, что перевод одного языка в другой не является полностью детерминированным: бесконечное множество двуязычных словарей возможны в силу того факта, что переводчик в каждый момент своего демарша сталкивается с целым, содержащим фразу, произнесённую носителем иностранного языка и ситуацию, в которой она произносится. Дэвидсон (Davidson) применил эту же идею к задаче приписывания верований другому человеку: в этой задаче в каждый момент времени мы противостояем целому, состоящему из поведения наблюдаемого агента и ситуации, в которую он помещён. Рассматривая человека, который готовится проглотить ядовитый гриб, мы, как кажется, можем предположить, что он верит, что гриб съедобен, и хочет поесть, или, что он верит, что гриб ядовит, и желает умереть, или же, что он верит, что гриб ядовит для женщин, но не для мужчин, которых, напротив, он делает неуязвимыми, или что он знает, что гриб токсичен, но не может

противиться удовольствию попробовать его, и так далее *ad infinitum*. Чтобы попытаться избежать неопределённости, чтец душ проварьирует ситуации и, сопоставляя порождённые таким образом различные гипотезы, исключит большое их число.

Не очевидно, что ему удастся сохранить из них лишь одну. Напротив, для того, чтобы сопоставить гипотезы и редуцировать спектр возможностей, ему нужно дополнительное предположение, предположение о рациональности агента, по крайней мере приближённой. Прежде всего нужно постулировать некоторую внутреннюю связность, которая, например, запрещает агенту верить в то, что гриб ядовит, не желать смерти и готовиться его съесть. Затем - глобальную связность, которая придаёт верованиям некоторую непрерывность при переходе от одной ситуации к другой: человек, бросающий подальше гриб, который он рассматривает как ядовитый и спешащий в следующее мгновение его подобрать, потому что вдруг, в отсутствие какой-либо новой информации, он верит, что он съедобен, не рационален. [77] Наконец, нужно постулировать некоторую логическую связность между верованиями: как говорит в своём примере Стефен Стич (Stephen Stich) [78], некто, кто вспоминает, что Кеннеди был убит, но не знает жив он сегодня или нет, не обладает в отношении Кеннеди полностью рациональным верованием, тогда как оно *кажется* не только рациональным, но правдивым.

Однако, приписать наблюдаемому индивидууму рациональность – это ввести нормативный элемент в сам объект научного исследования: это признать, что он нам доступен лишь при условии его соответствия правилу, которому, как кажется, никакой естественный закон не может заставить следовать, как это доказывают многочисленные случаи локальной или преходящей иррациональности, которые мы ежедневно наблюдаем в нас самих и в у наших близких. Таким образом, мы приходим к признанию того, что интерпретация предполагает соответствие интерпретируемого объекта норме, гарантом которой являемся мы. То, что мы используем, не есть, следовательно, *факты* относительно нашего существования как человеческих существ, но *норма*, которая ими управляет. Предварительному пониманию феноменологов здесь соответствует проекция мысленного правила. Каким образом, если принять эту точку зрения, не быть дуалистом? Можно быть скептиком: это установка Дэвидсона по отношению к психологии. Но монизм кажется невозможным.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.** Для того, чтобы резюмировать это длинное изложение, вернёмся к нашему первоначальному сравнению. Бацилла Коха существует как объект, независимо от других объектов (если не фактически, то концептуально) и нашего усилия, чтобы её идентифицировать. Намерение Цезаря, когда он пересекает Рубикон, не обладает существованием в том же смысле: оно не имеет пространственно-временной компактности объекта, оно концептуально связано со множеством других сущностей (верований, диспозиций к действию, и так далее), оно может быть идентифицировано лишь в рамках глобального понимания ситуации в своих различных аспектах, эта идентификация всегда остаётся незаконченной, нуждается в предпосылках, не редуцирующимся к множеству эксплицитных гипотез, и вводит нормативное измерение. Если пример Цезаря, пересекающего Рубикон, является характерным и правильно охарактеризованным, то единственно дуалистские или скептические опции кажутся открытыми.

Дело мониста, возможно, не совершенно безнадежно. Можно оспаривать, что пример хорошо выбран или подходящим образом описан. Могло бы оказаться, что гуманитарные науки могут оставить в стороне намерения Цезаря, могло бы также оказаться, что интерпретативисты ошибаются насчет способа, в соответствии с которым на деле происходит идентификация смыслов, – они, возможно, являются жертвой того сорта иллюзий, которые они вынуждены приписывать действующим лицам истории: «Безжалостный Бог, ты один всемогущий всем руководишь!» Не ведёт ли естественная сила руку интерпретатора, по крайней мере в некоторых случаях? В конце концов сказано, гуманитарные науки существуют, и некоторые из их разделов выглядят достаточно прочными; следовательно, либо они обходятся без интерпретации, либо интерпретация не является столь ненадежной, столь субъективной, как это может показаться. По крайней мере в этом состоит надежда мониста.

### История и историчность

Существуют два способа понимания идеи о том, что человеческие действия историчны и на этом основании нуждаются в знании особого рода. Обычный подход состоит в рассмотрении каждого действия как вписанного в существенно уникальный контекст, в рамках которого оно приобретает свой основной смысл. Решающие моменты военной и политической карьеры Цезаря, как и всякого эпизода истории, индивидуальной или коллективной, сингулярны, и в объяснении и понимании нуждается их сингулярная часть, а не часть, всегда редуцированная, регулярного, повторяющегося. Возможно, что некоторый феноменологический закон даёт вероятностное описание поведения генералов во время победоносных колониальных кампаний, но объяснение такого закона в сущности тривиально и далеко от того, чтобы прояснить переход Цезарем Рубикона, он получает свой слабый свет из понимания смысла этого сингулярного момента. Задача историка состоит в том, чтобы выделить из массы господствующих условий и предшествующих событий те, которые имеют отношение к делу, которые позволяют понять жест Цезаря. Как только эта задача выполнена, его миссия закончена, и то, что остаётся сказать, чтобы объяснить жест, исходя из того, что ему предшествует, тривиально и нуждается лишь в общих банальностях наивной психологии. Гуманитарные науки, поняты как науки о человеческих действиях, находятся, следовательно, в точности на противоположном полюсе по отношению к наукам о природе, познанием сцеплений сингулярных событий; повторение также мало значит для них как для физики обстоятельства 495 673 882го случая выявления эффекта Доплера в 5ом зале ТП лица Парк де Лион 23 февраля 2002 года в 11 ч 19 мин.

Однако, в такой форме историчность может показаться благодушной, так как она остаётся внешней: несомненно, переход Рубикона является событием, которое вписывается в уникальную последовательность событий и появление которого требует особых обстоятельств и предшествующих событий. Но это не накладывает никаких условий на *природу* рассматриваемого события.

## ЗАМЕЧАНИЯ

## ГУМАНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК

1. Огюст Конт (Auguste Comte), который рассматривал себя в качестве основоположника социологии, предлагает смелый синтез нормативного и дескриптивного измерений социальных наук. Точное описание общих законов, являющееся объектом позитивной социологии общества, *с того момента, когда оно будет ассимилировано человечеством*, позволит вести его к построению совершенного общества, то есть общества, общая организация которого соответствует естественной необходимости. Смотрите, например, *Discours sur l'ensemble du positivisme*, часть I. Выделенное курсивом условие позволяет провести различие между синтезом Конта и марксистским синтезом или другими формами натурализма.
2. Читатель может найти систематическое изложение в одной из многочисленных доступных книг, например, Elster, 1986, French, 1988, Heap *et alii*, 1992, Craven, 1992, Picavet, 1996. Среди книг Бертрана Сен-Сернена мы особенно будем обращаться к Saint-Sernin, 1973. Полезным сборником важных статей является сборник Moser, 1990.
3. Кажется, во Франции существует или же существовало официальное административное значение выражения « sciences humaines » : в соответствии с ним двумя, относящимися к этой группе наук дисциплинами, являются психология и социология, за важным исключением истории (отнесённой, следует полагать, вместе с лингвистикой к «lettres» (фр. – словесность)). Далее мы абстрагируемся от этой линии демаркации. Мы увидим, однако, что вопросы о месте истории являются чисто академическими.
4. Это значение слова «онтология» не является общепринятым. Здесь мы следуем тому употреблению, которое, начиная с Куайна, имеет тенденцию к распространению не только в аналитической философии, но и в других областях. В этом смысле онтология дискурса или дисциплины есть совокупность сущностей, существование которых должно предполагаться для того, чтобы этот дискурс или эта дисциплина могли бы быть поняты как нечто, утверждающее о чём-то реальном. Просьба к тем, кто будет склонен отвергнуть это употребление термина, не видеть в нём выражения какой-либо доктринальной позиции.
5. Смотрите, например, *Discours sur l'ensemble du positivisme*, III<sup>e</sup> часть.
6. Это одна из двух основных причин по которой Конт не является натуралистом редуccionистом; вторая – его доктрина субъективного синтеза.
7. В своём предисловии ко второму изданию *Règles de la méthode sociologique*.
8. Вовсе не очевидно, что онтология обогащается благодаря лишь факту возникновения новых свойств. Но это тот вопрос, который здесь следует оставить в стороне; мы к нему вернёмся в главах VIII и X.
9. Возможно другое «реляционистское» (фр. relationniste ; relation – отношение, связь) прочтение Дюркейма; смотрите Н. Alpert, *Émile Durkheim and his Sociology*, New York, Columbia University Press, 1939 ; переизд. New York, Russell & Russell, 1961 (я обязан этой ссылкой А. Bouvier).

10. Здесь два термина взаимозаменяемы, тогда как в других контекстах каждый из них отсылает к отличному понятию.
11. Классическая неопозитивистская точка зрения на эти вопросы представлена, в частности, в Nagel, 1961. Касательно новых подходов смотрите, в частности, Charles & Lennon, 1992.
12. Это точка зрения, которая обычно отстаивается в аналитической философии наук. Смотрите замечание 16 *infra*.
13. Freund, 1973
14. *Op. cit.*, p. 9
15. Freund, *op. cit*
16. Когда Мериль Салмон (Merrille Salmon), член знаменитого департамента истории и философии наук питсбургского (Pittsburgh) университета пишет в посвящённой социальным наукам главе «учебника Питта» (Salmon *et alii*, 1992, p. 424), коллективного труда этого департамента, что «философия социальных наук, также как и изучаемая ею научная область, гораздо менее развита, чем философия физических наук и философия биологических наук», нужно, следовательно, полагать, что он ссылается на современную аналитическую философию. Такое же замечание, впрочем, заслуживает вводная фраза посвящённой медицине главы того же труда: «Лишь за последние приблизительно десяток лет, пишет её автор Кенет Шэфнер (Kenneth Schaffner), профессиональные философы и, чувствительные к философским вопросам врачи, стали уделять неослабное внимание проекту философии медицины» (с. 310).
17. Gellner, 1985, p. 125
18. Смотрите, например, Tradition mathématique et tradition expérimentale dans l'évolution des sciences physiques », in Th. Kuhn, 1977.
19. Здесь снова возникает аргумент молодости: гуманитарные науки имеют дело с особенно сложной областью. В упомянутой выше главе М. Салмон (M. Salmon) цитирует (с. 415), без того, чтобы его одобрить, мнение одного исследователя из Institute for Social Research мичиганского университета, Филипа Конверса (Philip Converse), который в 1986 писал, что он «не был бы удивлён, если бы социальным наукам понадобилось пять веков для того, чтобы сравняться в своих результатах с теми результатами, которые физика получила за первые пятьдесят лет своего существования». Можно задаться вопросом о том, когда следует говорить о рождении физики, но от этого аргумент не становится менее ясным : если физика более совершенна, чем социальные науки, то это потому, что её объект более прост.
20. В действительности, такая схема существует уже по меньшей мере сто лет: речь идёт об историцизме, каким его отстаивали Вильгельм Виндельбанд (Wilhelm Windelband) и Генрих Рикерт (Heinrich Rickert), и который уравнивает в правах, в то же время радикально разделяя их и иногда противопоставляя, обобщающее знание и индивидуализирующее, или конкретизирующее, знание. Первое соответствует наукам о природе, второе – наукам культуры. Среди современных социологов Раймонд Будон (Raymond Boudon) принимает это различие. Что касается традиционного вопроса о специфичности гуманитарных наук, то мы к этому вернёмся несколько позже, и спросим себя о том, не потерял ли он, в контексте философии наук сегодняшнего дня, часть своей значимости. Обратите внимание на существование в этом контексте историцизма в другом смысле: термин также может отсылать к идеологиям прогресса.



21. Кажется, это выражение идёт от Steven Weinberg, « The forces of nature », *Bull. of the American Academy of Arts and Sciences* 29 (1976) ; Вейнберг (Weinberg) приписывает его Гуссерлю, но Иан Хокинг (Ian Hacking) полагает, что это употребление « Stil » в немецком языке обязано Шпенглеру (Spengler) и Людвигу Флеку (Ludwig Fleck) (Denkstil) (смотрите Ian Hacking, « The disunities of the sciences », in Galison & Stump, 1996, p. 64) ; Chomsky 1980, p. 8-9 ссылается на Вейнберга и берёт на себя ответственность за ссылку на Гуссерля ; cf. Также Mukherjee, 1998.
22. *Against Method* Поля Фейербенда (Paul Feyerabend) даёт в этом отношении удобную точку отсчёта.
23. Биология является, несомненно, наукой, которая занимается значительной частью того, что нас близко касается как биологических существ; и если она не может служить в качестве парадигмы науки, в таком случае наука есть предприятие гораздо менее интересное, чем это обычно предполагается», Dupré, 1993, p. 1.
24. Один современный философ наук полагает, что добрая часть экономической науки должна бы пойти в мусорницу. Но его здоровое неуважение не доходит до того, чтобы предложить исключить экономику из списка наук. Впрочем, нет ни одной дисциплины, лучшие специалисты которой не признавали бы (иногда, приватным образом), что она содержит значительную часть работ, не имеющих ценности (не то, чтобы они были в каком-то смысле ложными или же запятнанными ошибками – ошибка и научная фальсификация это другой вопрос; под сомнение ставится их долговременная теоретическая значимость).
25. « Disciplines are distinguished partly for historical reasons and reasons of administrative convenience (such as the organization of teaching and of appointments), and partly because the theories we construct to solve our problems have a tendency to grow into unified systems”, *Conjectures and refutations*, p. 67. Вторая предложенная Поппером причина, может вызвать длинную дискуссию: с одной стороны, биология не является единой системой; с другой стороны, эта тенденция к объединению, которую, в подстраничной сноске Поппер приписывает поиску поддержки всякой теории максимумом независимых фактов [*evidence*], может выразиться лишь в том случае, если нечто в самом объекте исследования позволяет это сделать – возможно, в этом можно было бы увидеть признак реальности тех дисциплин, которые действительно *образованы единой теорией*. Но, очевидно, не в этом направлении желает идти Поппер.
26. N. Chomsky, in Kasher, Asa, ed. *The Chomskyan Turn*, Oxford, Blackwell, 1991, p. 6.
27. Кстати, это движение широко начато. Об этом свидетельствуют конгрессы по философии наук, также как некоторые новые учебники – Klee, 1997, например, основан на начальной главе, полностью посвящённой аллергологии. Вот кто нас меняет, во всяком случае, на Коперника-Галилея-Декарта-Паскаля-Ньютона!
28. Нельзя не упомянуть другое достаточно новое открытие, а именно, что не монолингвизм, а билингвизм является преобладающим на планете.
29. Мы бы не слишком рекомендовали читателю перечитывать Unended Quest (Popper, 1974), в частности, несколько решающих и взволнованных страниц параграфа 8. Из них мы также узнаём насколько в те времена была *серьёзна* ситуация (историческая и материальная) Поппера, вне какого-либо сравнения с нашей сегодняшней.
30. « For years I found that people had great difficulty in admitting that theories are, logically considered, the same as hypotheses. The prevailing view was that hypotheses

are as yet unproved theories, and that theories are proved, or established, hypotheses”, *op. cit.*, p. 81.

31. Вырисовывается параллель с метафизическим скептицизмом, который одновременно в компетентных руках есть серьёзный метафизический выбор и, понятый вульгарно, есть пустая игра ума.
32. Тем не менее, согласно Freund, *op. cit.*, p. 92-93, Дильтай имел проект классификации наук о сознании, в котором «социальные науки» имеют в качестве области исследования «внешнюю» организацию общества (его формы и институты), а «культурные науки» - мир ценностей и целей. По совокупности этих вопросов мы в особенности сошлёмся на Mesure, 1990. К сожалению я узнал об этой работе, благодаря Албану Бувье (Alban Bouvier), лишь после того, как работа по написанию этой главы была закончена.
33. M. Salmon, *loc. cit.*, p. 408 sq.
34. Brian Fay & J. Donald Moon, “What would an adequate philosophy of social science look like?”, *Phil. of Social Science*, 7 (1977), p. 209-227; перепечатано в Martin & McIntyre, 1994
35. Здесь я не пытаюсь (к счастью) дать множество независимых и в своей совокупности достаточных свойств для того, чтобы охарактеризовать индивидуума, таким, каким он представляется гуманитарным наукам (впрочем, ничто не позволяет считать, что он представляется одинаковым образом для разных дисциплин). Достаточно нескольких из этих свойств для того, чтобы дать пищу антинатуралистским интуициям. С другой стороны, антинатурализму неважно, что они будут взаимозависимыми. Напротив, натурализм, который выбрал себе в качестве миссии натурализовать множество этих свойств, должен, с одной стороны, взять их на учёт, и, с другой стороны, постараться привести их к настолько малому числу базовых свойств, которые, в конечном итоге, ему нужно будет «натурализовать», насколько это возможно.
36. Мало-мальски детальное изложение избежало бы противопоставления между двумя типами представлений, стабильными и мимолётными: оно ввело бы континуум длительности. С другой стороны, следует различать подкатегории внутри того, что здесь представлено как одно большое целое, в котором смешиваются институты (Код Наполеона, гражданское бракосочетание, редуцированные тарифы для многочисленных семей в монтпельевских автобусах (Montpellier – город на юге Франции – замеч. пер.), Государственный Совет, Лувр или институты мест культа...), публичные представления (последняя песня в моде, максимы вежливости, афиши, напечатанные тексты, фильмы...), имплицитные правила, социальные нравы и привычки и так далее.
37. Индивидуум ощущает их как принуждения, даже если, как настаивает на этом Дюркейм (Durkheim), который видит в этом принудительном характере отличительную метку социальных фактов, он их «интериоризует» (фр. *intérioriser* - превращать внешнее во внутреннее).
38. Как мы увидим далее, совместные намерения (фр. *intentions*) и действия есть нечто другое, чем простая сумма тождественных или похожих индивидуальных намерений и действий.
39. Dilthey, 1883, p. 42 фр. пер. 1943 года.
40. Johann Gustav Droysen (1808-1884) ; cf. Freund, *op. cit.*, p. 62-66.
41. Цитируется Freund, *op. cit.*, p. 30
42. Freund, p. 35-36
43. Dilthey, *op. cit.*, p. 36, цитируется Freund, *op. cit.*, p. 81.

44. В некотором смысле, близком к смыслу теории симуляции, развитой в рамках «наивной психологии»; cf. гл. III.
45. Dray, 1957, p. 118; отрывок перепечатан в Martin & McIntyre, 1994, p. 173. Автор таким образом резюмирует основные черты «эмфатического» метода, чтобы подготовиться к защите «*covering laws theorists*» против аргументов Хемпеля (Hempel) и других.
46. В зависимости от контекста этот термин отсылает к различным явлениям, даже если между ними и имеются подобия. Например, в гл. III мы упомянули «семантический холизм» Куайна; другие версии будут упомянуты в гл. IX.
47. «Целое не идентично сумме его частей, оно есть нечто иное, свойства которого отличны от свойств, которые дают части, из которых оно состоит», Durkheim, 1895; PUF, 20<sup>e</sup> éd., p. 102.
48. Max Wertheimer (1880-1943), глава берлинской школы *Gestalt*, открыватель «*phi* явления» (видимое перемещение светового луча). Цитата, взятая из конференции 1924 года, даётся J.-M. Monnoyer в его предисловии к французскому переводу Кёллера, 1929. Смотрите также Smith, 1988. Мы к этому снова вернёмся в гл. IX.
49. Смотрите, в частности, Kusch, 1995, p. 266-271.
50. Курсив добавлен: это существенное условие, которое очень часто опускают, и без которого холизм становится тривиальностью.
51. Dilthey, 1910. Напомним, что Дильтей родился в 1833 году и умер в 1911 году.
52. Cf. A Laks & A. Neschke, éd., *La naissance du paradigme hermétique*, Cahiers de Philosophie, vol. 10, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires de Lille, 1990.
53. Aron, 1938, coll. Tel, p. 60.
54. Popper, 1983, Partie I, §7, p. 106 франц. пер.
55. В своих недавних работах Иан Хокинг (Ian Hacking) значительно развил это понятие «человеческого вида» [*human kind*], которое составляет пару с понятием «естественного вида» [*natural kind*]. Речь не идёт о чисто искусственных категориях (культурных, институционных), как получатели оплачиваемых отпусков, высокопоставленные функционеры или подряды на подъёмные устройства в Валь-д'Изэр (Val-d'Isère). Элементы некоторого *human kind* являются его членами в силу естественных свойств: подростки, гомосексуалисты, битые дети, люди, страдающие синдромом раздвоения личности, SDF, неполные семьи есть примеры «человеческих видов» (Cf. «The looping effect of human kinds», in Sperber, Premack, Premack, 1995, p. 351-394; и Hacking, 1999). Согласно некоторым феминистским доктринам, вдохновлённым «конструктивизмом», от которого Хокинг решительно отмежёвывается, в противоречии с видимостью женский род, женщины также в этом смысле являются человеческим, а не естественным видом. Хокинг защищает нюансированную позицию, располагающуюся на равном удалении от радикального конструктивизма («военный клич» или «лозунг в употреблении у всех тех, кто, как выражается Брендан Лаврор (Brendan Lavaror) в своей рецензии на книгу Хокинга для *Mind*, 109 (2000) p. 614, чувствует себя угнетённым давящим авторитетом «зрелых наук») и наивным объективизмом.
56. Это «looping effect», о котором говорит Хокинг.
57. Merton, 1949.
58. Именно так, например, поступает Эрнест Геллнер (Ernest Gellner), *op. cit.*
59. В широком смысле, употреблённом в самом начале главы; смотрите ссылки замечания 2.

60. Donald Davidson, « Freedom to act » (1973), in Davidson, 1980, p. 63. Дэвидсон ссылается на авторитет Гоббса (Hobbes), Локка (Locke), Юма (Hume), Мора (Moore), Шлика (Schlick), Айера (Ayer) и так далее для того, чтобы дискредитировать идею о том, что «свобода несовместима с гипотезой о том, что действия причинно детерминированы, по крайней мере, если причины могут быть отнесены к внешним по отношению к агенту событиям».
61. Это странное наречное выражение отсылает к основному характеру действия, характеру, который наиболее прямым образом определяется непосредственной интенцией агента.
62. Cf. превосходный синтез в гл. II книги Livet, 1994 и Bishop, 1989.
63. Этому вопросу было уделено большое внимание философами социологии и истории, начиная с обсуждения Морисом ... (Maurice Halbwachs), сторонником Дюркайма, определения (интенционального или поведенческого) самоубийства, до Рикёра во Франции и, например, Р. Ж. Коллингвуда (R. G. Collingwood), Уильяма Дрэй (William Dray), Питера Винча (Peter Winch), Alasdair McIntyre в Великобритании.
64. Davidson, 1980, p. 240.
65. Цитируем David-H. Ruben, « Singular explanation and the social sciences », in French, Uehling, & Wettstein, 1990 ; и, что касается общего вопроса объяснения, его антологию Ruben, 1993.
66. Frank C. Keil and Robert A. Wilson, eds., *Explanation and Cognition*, Cambridge, MA, MIT Press, 2000.
67. Cf., например, Boudon, 1990.
68. Карл Хэмпель (Karl Hempel) играет в этих дебатах особую роль. Один из главных представителей логического эмпиризма в философии наук, он внёс значительный вклад в то, чтобы определить эту дисциплину в американском философском контексте после Второй мировой войны, в частности, снабжая её весьма влиятельной теорией научного объяснения (теорией, которую Поппер предвосхитил, но его главный труд [Popper, 1934] долгое время оставался конфиденциальным, что немало усложнило историю идей в данном разделе. Эту теорию объяснения Хэмпель вначале предназначал наукам о природе. Но затем ему удалось показать с демонстративной точностью, что объяснение в гуманитарных науках подчиняется его общей модели, без того, чтобы возникла необходимость в опровержении основных интуиций интерпретативистов (cf. Hempel, 1965). Нужно ли уточнять, что его попытка согласования убедила не всех в лагере антинатуралистов?
69. David Papineau, *For Science in the Social Sciences*, New York, St. Martin's Press, 1987.
70. Это позиция, защищаемая Dagfinn Føllesdal, « Hermeneutics and the hypothetico-deductive method », *Dialectica*, 33 (1979), p. 319-336; перепечатано в Martin & McIntyre, eds., *op. cit.*
71. Charles Taylor, « Interpretation and the sciences of man », *Review of Metaphysics*, 25 (1971), p. 3-51; перепечатано в Taylor, 1985 и в Martin & McIntyre 1994.
72. Смотрите гл. III и, среди недавних работ, работы Damasio, 1994.
73. Clifford Geertz, « Thick Description : Toward an Interpretive Theory of Culture », in Martin & McIntyre, 1994, p. 228; речь идёт о широких выдержках из Geertz, 1983.
74. «В герменевтической науке некоторая доза интуиции [проникновения, *insight*] необходима и нельзя передать эту способность посредством сбора необработанных данных или преподавая некоторые формальные процедуры

мышления. [...] Она не поддаётся формализации», Taylor, 1985, p. 207, Martin & McIntyre, 1994, p. 53.

75. Здесь следовало бы изучить вопрос о том, может ли влияние изучаемого объекта на историка действительно превосходить пределы простого познания, которое является эксплицитной задачей научного демарша.
76. Оно имеет феноменологическое происхождение в особенности, несомненно, хайдеггеровское.
77. Для того, чтобы сохранить гипотезу о рациональности, нужно предположить, что между двумя мгновениями произошла ревизия его верований в свете информации, имеющей внутреннее происхождение, например, в свете воспоминания, или пересмотр мотивов, лежащих в основе первого верования.
78. Stich, 1983.
79. Collingwood, 1946.